

Эмиль
ДЮРКГЕЙМ



Самоубийство

PHILOSOPHY

18+

Философия – Neoclassic

Эмиль Дюркгейм

Самоубийство

«АСТ»

1897

УДК 316.6+616.89
ББК 60.5+56.14

Дюркгейм Э.

Самоубийство / Э. Дюркгейм — «АСТ», 1897 — (Философия — Neoclassic)

ISBN 978-5-17-111956-0

Эмиль Дюркгейм (1858—1917) — французский социолог и философ, профессор университетов Бордо и Сорбонны, основатель французской социологической школы, один из основоположников социологии как самостоятельной науки. Эта книга, впервые изданная еще в 1897 году, стала образцом социологического исследования. Дюркгейм использовал метод вторичного анализа существующей официальной статистики и, основываясь на обширном фактическом материале, проанализировал феномен самоубийства с самых различных сторон: социальной и морально-психологической, религиозной и этнической.

УДК 316.6+616.89

ББК 60.5+56.14

ISBN 978-5-17-111956-0

© Дюркгейм Э., 1897

© АСТ, 1897

Содержание

Предисловие	5
Введение	9
Книга I	16
Глава I	16
Глава II	31
Глава III	45
Глава IV	55
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Эмиль Дюркгейм

Самоубийство

Предисловие

С некоторого времени социология вошла в моду; самое слово «социология» стало теперь употребляться очень часто, а еще десять лет назад оно было малоизвестно и почти осуждено наукой. Социология находит себе все новых и новых сторонников, и в публике слагается какое-то предвзято благосклонное отношение к этой новой науке, на которую возлагаются самые большие надежды. Нельзя, однако, не признать, что полученные до сих пор результаты не вполне оправдывают ни большого количества опубликованных по этому вопросу трудов, ни затраченного на них интереса читателей.

Прогрессивное развитие какой-либо отрасли науки выражается главным образом в том, что трактуемые ею вопросы не остаются в стационарном состоянии; лишь тогда говорят про данную науку, что она движется вперед, если ею устанавливается дотоле неизвестная закономерность явлений или по крайней мере открывается ряд новых факторов, которые, не позволяя делать окончательных выводов, способны изменить самую точку зрения на затрагиваемую проблему. К несчастью, в силу того что социология в большинстве случаев не ставит себе точно определенных проблем, она не может тем самым служить таким примером. Она не прошла еще через периоды построений и синтезов. Вместо того чтобы поставить себе целью осветить своими лучами определенную часть необъятного социального поля, социология в большинстве случаев ищет блестящих выводов, причем все вопросы только подвергаются общему обзору, но отнюдь не исследуются по-настоящему; такой метод легко ведет к злоупотреблениям, давая читающей публике так называемое «представление» о всякого рода вещах, но не приходя при этом ни к какому объективному результату. Законы бесконечно сложной действительности не могут быть открыты путем таких кратких обсуждений и мимолетных интуиций; особенную же бездоказательностью отличаются широкие и поспешные обобщения. Все, что можно сделать при таком понимании задач социологии, – это привести при случае несколько подтверждающих предлагаемую гипотезу примеров; но одни иллюстрации еще не могут служить доказательством чего бы то ни было; к тому же если затрагивается такая масса различных вопросов, то ни в одном из них нельзя быть компетентным. И приходится пользоваться чисто случайными сведениями, без всякого критического к ним отношения. Таким образом, книги по чистой социологии не могут быть полезны тому, кто поставил себе правилом иметь дело лишь с вопросами строго определенными, так как большинство из них не входит в рамки какой-либо особой отрасли исследования и, кроме того, чрезвычайно бедно сколько-нибудь авторитетными документальными данными.

Каждый человек, верующий в будущее социологии, должен всеми силами души стремиться к тому, чтобы положить конец такому положению вещей. Если социология будет и дальше пребывать в таком состоянии, то она быстро упадет в прежнюю немилость, к немалой радости всех врагов знания. Для человеческого разума было бы в высшей степени плачевно, если бы часть действительности, представляемая социологией, – единственная, отказывающаяся ему до сих пор покориться, единственная, о которой ведутся еще горячие пререкания, – хотя бы только на время ускользнула из-под его власти. Неопределенность полученных до сих пор результатов отнюдь не должна нас обескураживать: это аргумент в пользу того, чтобы употребить новые усилия, а не в пользу того, чтобы отказаться от усилий. Наука, только еще вчера зародившаяся, имеет право ошибаться и идти ощупью, если только она сама сознает свои ошибки и колебания и тем самым предохраняет себя от возможности их повторения. Социо-

логия не должна отказываться ни от одной из своих высоких задач, но если она хочет оправдать возлагающиеся на нее надежды, то она должна стремиться к тому, чтобы стать чем-либо иным, а не только своеобразной разновидностью философской литературы.

Вместо того чтобы предаваться метафизическим размышлениям по поводу социальных явлений, социолог должен взять объектом своих изысканий ясно очерченные группы фактов, на которые можно было бы указать, что называется, пальцем, у которых можно было бы точно отметить начало и конец – и пусть он вступит на эту почву с полной решительностью. Пусть он старательно рассмотрит все вспомогательные дисциплины – историю, этнографию, статистику, без помощи которых социология совершенно бессильна. Если при таком методе работы можно чего-либо опасаться, так это только того, что при всей добросовестности социолога данные, добытые социологом, не будут исчерпывать изученного им материала, так как сам материал настолько богат и разнообразен, что хранит в себе неистощимую возможность самого неожиданного, самого нечаянного стечения обстоятельств. Но не надо, конечно, придавать этому преувеличенного значения. Раз социолог пойдет указанным нами путем, то даже в том случае, если фактический инвентарь его будет не полон, а формулы слишком узки, работа его будет, бесспорно, полезна – и будущее поколение продолжит ее, потому что каждая концепция, имеющая какое-нибудь объективное основание, не связана неразрывно с личностью автора; в ней есть нечто безличное, благодаря чему она переходит к другим людям и воспринимается ими; она способна к передаче. Благодаря этому в научной работе создается возможность известной преемственности, а в этой непрерывности лежит залог прогресса.

Именно в этой надежде написана предлагаемая нами работа. И если среди различных вопросов, которые разбирались нами на всем протяжении нашего курса, мы выбрали темой настоящей книги самоубийство, то поступили мы так главным образом потому, что самоубийство принадлежит к числу явлений наиболее легко определяемых и может служить для нас исключительно удачным примером; но и тут для точного определения очертаний нашей темы нам понадобилось немало предварительной работы. Зато, сосредоточиваясь таким образом на одном каком-нибудь вопросе, нам удастся открывать законы, которые лучше всякой диалектической аргументации доказывают возможность существования социологии как науки. В дальнейшем изложении читатель познакомится с теми из этих законов, которые, как мы надеемся, нам удалось доказать. Без всякого сомнения, нам не раз случалось ошибаться, чрезмерно увлекаться в своей индукции и отдаляться от наблюдаемых фактов; во всяком случае, каждое из своих положений мы подкрепляли возможно большим количеством доказательств; особенное внимание мы обращали на то, чтобы как можно тщательнее отделить рассуждение по поводу данного положения и нашу субъективную интерпретацию его от самих рассматриваемых фактов. Таким образом, читатель может сам оценить, насколько основательны предлагаемые ему объяснения, имея под руками все данные для обоснованного суждения.

Поставив точные границы своим изысканиям, необходимо, кроме того, категорически воздержаться от изложения общих взглядов на изучаемый предмет и от так называемого краткого общего обозрения темы. Мы думаем, что достигнутые нами результаты, а именно установление известного количества положений относительно брака, вдовства, семьи, религиозной общины и т. д., дают нам возможность, разумеется при правомерном пользовании этим материалом, научиться гораздо большему, чем изучая заурядные теории моралистов о природе и качестве этих явлений и учреждений.

В нашей книге читатель найдет также несколько указаний на причины общего недуга, заразившего в настоящее время все европейское общество, и на те средства, которыми этот недуг может быть ослаблен. Никогда не надо думать, что общее положение вещей можно объяснить при помощи обобщений. Можно говорить об определенных причинах только после тщательного наблюдения и изучения не менее определенного внешнего их проявления. Само-

убийства в том виде, в каком они сейчас наблюдаются, являются именно одной из тех форм, в которых передается наша коллективная болезнь, и они помогут нам добраться до ее сути.

Предлагаемый нами метод целиком зиждется на том основном принципе, что социальные явления должны изучаться как вещи, т. е. как внешние по отношению к индивиду реальности. Для нас это столь оспариваемое положение является основным. В конце концов, для того чтобы существование социологии было возможным, раньше всего нужно, чтобы у нее был специальный, только ей принадлежащий объект изучения, чтобы она поставила своей задачей изучение реальности и не была зависима ни от какой другой отрасли знания. Но если нет ничего реального за пределами единичного сознания, то социология как таковая должна исчезнуть за неимением материала.

Единственный предмет, к которому тогда может применяться наблюдение, это состояние ума индивидов, ибо ничто иное не существует; но это – задача психологии. С этой точки зрения все, что есть существенного в браке, или в семье, или в религии, заключается в тех индивидуальных потребностях, которым предназначены служить эти институты, а именно: отцовская и сыновья любовь, половое влечение, то, что называется религиозным инстинктом, и т. д. Что же касается самих институтов с их исторически выработанными формами, столь сложными и разнообразными, то этой стороной дела можно пренебречь: она представляется малоинтересной. Будучи только внешним и случайным выражением общих свойств природы индивидуума, вышеперечисленные институты являются лишь одним из ее проявлений и не требуют специального исследования. Конечно, при случае любопытно заняться изучением того, какое внешнее выражение получали в различные исторические эпохи эти вечные человеческие чувства; но так как каждое такое внешнее выражение несовершенно, то им нельзя придавать слишком большого значения. В некотором отношении бывает даже полезно вовсе отбросить их, чтобы лучше проникнуть в глубь оригинального подлинника, в котором чувства эти черпают свой смысл и истинная природа которого искажается внешней передачей.

Таким образом, под предлогом того, чтобы дать науке более глубокую подпочву, основывая ее на психологическом строении индивида, ее отделяют от единственного свойственного ей предмета. Обыкновенно в таких случаях не замечают того, что социологии не может быть там, где нет общества, а общества нет там, где есть только индивиды. К тому же эта концепция является одной из главных причин, поддерживающих в социологии вкус к неясным обобщениям. Вполне естественно, что если за конкретными формами социальной жизни не признается самостоятельного существования, то нет и желания заниматься их описанием.

Мы твердо надеемся, что, читая нашу книгу, каждый согласится с нами в том, что над индивидом стоит высшая духовная реальность, а именно коллектив. Когда станет очевидно, что у каждого народа существует свой особый процент самоубийства, что процент этот более постоянен, чем общая смертность, что если он вообще эволюционирует, то – следуя коэффициенту ускорения, свойственному каждому обществу, что все его колебания в различные моменты дня, месяца, года только воспроизводят ритм общей социальной жизни; когда убедятся, что брак, развод, семья, религиозная община, армия и т. д. влияют на него по точно определенным законам, из которых некоторые могут быть выражены даже цифрами; когда убедятся во всем этом, то откажутся видеть в этих состояниях и институтах какие-то идеологические установления, не имеющие ни силы, ни значения. Тогда почувствуют, что это – реальные, живые действующие силы, которые, определяя собою индивида, тем самым ясно доказывают, что они не зависят от него, по крайней мере тогда, когда он входит в качестве элемента в те комбинации, результатом которых они являются. По мере того как вышеперечисленные силы формируются, они налагают свою власть на индивида. Приняв это во внимание, легче понять, каким

образом социология может и должна быть объективной, ведь она имеет перед собой столь же определенные и столь же прочные реальности, как предмет изучения психолога или биолога ¹.

Нам остается выразить свою благодарность нашим бывшим ученикам г-ну Феррану, преподавателю Высшей первоначальной школы в Бордо, и г-ну Марселю Моссу, приват-доценту философии, за ту готовность помочь нам, которую они проявили, и за те незаменимые услуги, которые они нам оказали.

¹ Далее мы укажем, что эта точка зрения, далекая от того, чтобы исключать всякую свободу, является единственным средством примирения ее с детерминизмом, непосредственно вытекающим из данных статистики.

Введение

I

Так как самое слово «самоубийство» бесконечное число раз употребляется в нашей речи, то, казалось бы, можно рассчитывать, что точный смысл его понятен каждому и определение его с нашей стороны будет совершенно излишним. Но на самом деле слова нашей обыденной речи, как и выражаемые ими понятия, всегда и неизбежно двусмысленны, и тот ученый, который стал бы употреблять эти слова в их обыкновенном значении и не подвергая их никакой предварительной обработке, стал бы неминуемо жертвой серьезных недоразумений. Не только понимание слова так широко, что изменяется в различных случаях по мере надобности, но, кроме того, так как классификация ходячих понятий не имеет своим основанием методического анализа, а только передает смутные и неясные впечатления толпы, то можно беспрестанно наблюдать, как целые категории совершенно разнородных фактов непонятно почему собраны под одной рубрикой или как явления однородные называются разными именами. Итак, если полагаться на традиционное значение слов, то можно впасть в заблуждение, а именно приписать различный смысл тому, что должно быть соединено вместе, и, наоборот, смешать то, что должно быть разделено, и, таким образом, не заметить действительного родства вещей и не понять их природы. Только путем сравнения можно подойти к объяснению. Научное исследование не может достигнуть своей цели иначе как сравнением фактов, и у него тем более будет шансов на успех, чем увереннее оно будет, что собрало все явления, которые можно с пользой сравнить между собой. Но эти естественные средства индивидов не могут быть опознаны с достоверностью путем простого внешнего наблюдения, подобного тому, результатом которого является обыденная терминология; следовательно, ученый не может взять объектом своих изысканий вполне установленную группу фактов, которой точно отвечали бы слова разговорной речи; он сам должен установить группы, которые он хочет изучать, с тем чтобы придать им известную однородность и ту специфичность, вне которых немыслима никакая научная работа. Подобным же образом ботаник, говоря о плодах или цветах, и зоолог, говорящий о рыбах и насекомых, употребляют различные термины в том значении, какое они должны были предварительно установить.

Нашей первой задачей должно быть определение группы тех фактов, которые мы предлагаем изучать под именем самоубийства. Для этого мы должны рассмотреть, есть ли среди различных видов смерти такие, которые имеют общие характерные черты, достаточно объективные для того, чтобы быть признанными каждым добросовестным наблюдателем, достаточно специализированные для того, чтобы нигде уже более не встречаться, и в то же время достаточно близкие к тому, что обыкновенно называется самоубийством, для того чтобы, не насилуя обычной терминологии, мы могли сохранить это выражение.

Если таковые нам встретятся, то под этим наименованием мы соберем все без исключения факты, имеющие ясно выраженный характер, и не будем беспокоиться о том, что образованная таким образом классификация не вмещает, быть может, всех называемых обыкновенно этим именем случаев или, наоборот, вмещает в себя и такие случаи, которые обыкновенно носят другое название. Важно не то, чтобы уметь выразить более или менее определенно то понятие, какое составил себе о самоубийстве средний интеллект; нужно установить целую категорию явлений, которые не только могут без всякого затруднения быть занесены в эту рубрику, но, кроме того, имеют объективное основание, т. е. соответствуют определенной природе вещей. Среди различных видов смерти есть имеющие в себе особую черту, заключающуюся в

том, что смерть является делом самой жертвы, что страдающим лицом является сам действующий субъект; с другой стороны, можно с определенностью сказать, что общераспространенное мнение о самоубийстве именно этот момент считает для него характерным; внутренний мотив такого рода поступков с этой точки зрения не имеет определяющего значения. Хотя в общем самоубийство представляют себе как положительный и неизбежно насильственный поступок, который требует известной затраты мускульной силы, но вполне может случиться, что совершенно отрицательное состояние или простое воздержание породят тот же результат. Можно лишиться себя жизни, отказываясь от принятия пищи, точно так же, как и посредством ножа или выстрела. Вовсе не нужно, чтобы покушение на самоубийство влекло за собой непосредственный смертельный исход, для того чтобы можно было смерть признать результатом данного действия; причинная связь может и не быть прямой, от этого нисколько не меняется самая природа явления. Иконоборец, жаждущий мученического венца, совершающий сознательное оскорбление величества, караемое смертной казнью, и умирающий от руки палача, является самоубийцей не в меньшей степени, чем тот, кто сам наносит себе смертельный удар; нет никакого основания для различной классификации этих двух разновидностей добровольной смерти, если вся разница между ними заключается только в материальных деталях исполнения. Таким образом, прежде всего мы получаем следующую формулу: самоубийством называется всякий смертный случай, являющийся непосредственным или посредственным результатом положительного или отрицательного акта, совершенного самой жертвой.

Но это определение недостаточно полно; оно не различает двух совершенно различных видов смерти. Нельзя относить к одному разряду и рассматривать с одинаковой точки зрения смерть человека, страдающего галлюцинациями, который выскакивает из окна верхнего этажа, думая, что оно находится в уровень с землей, и смерть психически здорового человека, убивающего себя вполне сознательно. Ведь, строго говоря, почти нельзя указать такого смертельного исхода, который не был бы близким или отдаленным последствием того или иного поступка самого пострадавшего лица. Правда, причины смерти чаще лежат вне нас, чем внутри нас, но они влияют на нас только тогда, когда мы сами вступаем в сферу их действия. Можно ли утверждать, что смерть только тогда может называться самоубийством, когда сама жертва, совершая поступок, знает, что он будет иметь смертельный исход? Что только тот действительно убивает себя, кто хочет этого, и что самоубийство есть намеренное убийство самого себя? Прежде всего это значило бы определить самоубийство при помощи такого признака, который, каковы бы ни были его интерес и важность, лишь с трудом поддается наблюдению, а, следовательно, не легко может быть установлен. Как узнать, что именно заставило действующее лицо решиться на самоубийство; и, когда он решился, желал ли он именно смерти или преследовал другую какую-нибудь цель? Само намерение есть слишком интимное проявление воли и может быть рассматриваемо извне только самым грубым и приблизительным образом; оно ускользает даже от внутреннего наблюдения. Как часто мы ошибаемся относительно настоящих мотивов наших поступков! Как часто мы объясняем наши поступки благородными порывами, возвышенными соображениями, тогда как они вызваны мелкими чувствами и слепой силой рутины.

В общем, поступок не может определяться целью, преследуемой действующим лицом, потому что однородные движения могут относиться к самым различным целям. Если допустить, что самоубийство имеет место только в том случае, когда у человека было определенное намерение убить себя, – под наше определение самоубийства не подошли бы многие факты, в существе своем, несмотря на кажущуюся разнородность, вполне идентичные с теми, которым это название дается решительно всеми и которых нельзя называть иначе, так как это значило бы отнять у этого термина всякое определенное употребление. Солдат, идущий навстречу верной смерти, для того чтобы спасти свой полк, не хочет умереть, а разве в то же самое время он не является виновником своей смерти в том же значении этого слова, в каком оно применимо к промышленнику или коммерсанту, убивающему себя, для того чтобы избежать стыда и позора

банкротства. То же самое можно сказать о мученике, умирающем за веру, о матери, приносящей себя в жертву своему ребенку, и т. д. Принимается ли смерть только как печальное, но неизбежное условие той цели, к которой субъект стремится, или же он ищет ее ради нее самой – в обоих случаях он отказывается от существования, и различные способы расчета с жизнью могут быть рассматриваемы только как разновидности одного и того же класса явлений. Между всеми этими разновидностями слишком много основного сходства, для того чтобы их нельзя было объединить под одним родовым термином, строго различая при этом все виды этого рода. Правда, согласно обыденному представлению, самоубийство есть прежде всего порыв отчаяния у человека, который больше не дорожит жизнью; но на самом деле человек вплоть до самого последнего момента привязан к жизни, хотя эта привязанность и не мешает ему расстаться с нею. Во всех случаях, когда человек отказывается от того, что считает своим высшим благом, имеются, очевидно, общие и существенные признаки; напротив, разнородность побудительных причин, оказавших влияние на самое решение, может вызвать лишь второстепенные подразделения. Когда преданность чему-либо простирается до лишения себя жизни, то с научной точки зрения это будет самоубийством; мы увидим далее, к какому разряду надо будет отнести этот случай.

Общим для всех возможных форм этого высшего отречения является то, что поступок, освящающий это отречение, совершается сознательно, что сама жертва в момент действия знает о последующем результате своего поступка, каковы бы ни были мотивы, приведшие ее к совершению этого поступка. Все смертные случаи, имеющие эту характерную особенность, резко отличаются от тех, в которых человек или не является орудием своей смерти, или же является им только бессознательно. В подобных случаях не представляет чрезвычайной трудности установить, знал или нет человек заранее об естественных последствиях своего поступка. Они составляют, таким образом, вполне определенную, легко распознаваемую группу, которая вследствие этого должна иметь специальное название. Термин «самоубийство» соответствует этому понятию, и нам нет надобности придумывать новое слово, так как в состав данной группы явлений входит огромное большинство случаев, называемых этим именем в обыденной жизни. Следовательно, мы можем с определенностью сказать: *самоубийством называется каждый смертный случай, который непосредственно или опосредованно является результатом положительного или отрицательного поступка, совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его результатах.* Покушение на самоубийство – это вполне однородное действие, но только не доведенное до конца. Этого определения достаточно для того, чтобы исключить из нашего исследования все, что касается самоубийства животных. В самом деле, все, что мы знаем об умственном развитии животных, не позволяет нам предположить у них наличие предварительного сознания смерти, в особенности же допустить у них знание и понимание приводящих к этому средств. Можно, правда, наблюдать случаи, когда животные отказываются входить в помещение, где были убиты другие животные. Можно подумать, что они как бы предчувствуют ожидающую их судьбу. В действительности ощущение запаха крови является достаточным объяснением этого инстинктивного сопротивления. Все хоть немного достоверные факты, в которых хотят видеть самоубийство животных в подлинном смысле этого слова, могут быть объяснены совершенно иначе. Если разъяренный скорпион жалит самого себя – что в конце концов недостоверно, – то он делает это, быть может, в силу автоматической и бессознательной реакции. Двигательная энергия, порожденная у него состоянием раздражения, разрешается случайно, как попало; бывает иногда, что жертвой этих движений падает само животное, и нельзя с уверенностью сказать, представляло ли оно себе заранее последствия своего поступка. С другой стороны, если существуют собаки, которые отказываются от принятия пищи после смерти своего хозяина, то это означает, что тоска механическим образом лишает их аппетита; такое состояние влечет за собою смерть, но она не является заранее предвиденным результатом. Ни воздержание от пищи в этом случае, ни укус в

предыдущем не употреблялись как средства для достижения вполне определенной цели. Здесь не хватает ясно выраженного характера самоубийства, как мы его уже определили раньше. Поэтому в последующем изложении мы будем говорить только о самоубийстве людей.

Но это определение не только имеет своим преимуществом устранение ошибочных сближений или произвольных заключений; уже теперь оно дает нам понятие о том месте, которое самоубийство занимает в общей моральной жизни человека. Оно нам показывает, что самоубийство не составляет, как это можно было бы думать, совершенно обособленной группы фактов, не есть какой-то исключительный класс чудовищных явлений, стоящих вне всякой связи с другими видами поведения. Наоборот, мы видим, что самоубийство соединяется с ними прерывным рядом промежуточных ступеней и оказывается только преувеличенной формой повседневных поступков. В самом деле, только тот случай, как мы видели выше, можно назвать самоубийством, когда жертва в тот момент, как она совершает поступок, прерывающий течение ее жизни, ясно сознает то, что естественным образом должно из этого поступка последовать. Но это сознание может быть той или иной силы; придайте ему каплю сомнения – и вы получите поступок, который уже не будет самоубийством, но который близок ему по существу и отличается от него только по степени. Человек, сознательно подвергаящий себя опасности ради другого лица, но без явной угрозы смерти, конечно, не является самоубийцей, даже если ему и пришлось бы умереть. Этим именем нельзя также назвать неосторожного, как бы играющего со смертью человека, стремящегося в то же время избежать ее, или человека апатичного, который, не будучи ни к чему привязан в жизни, не дает себе труда позаботиться о своем здоровье и погибает от своей небрежности. И однако все эти виды поведения ничем коренным от самоубийства в собственном смысле слова не отличаются; они порождают аналогичное направление ума, поскольку в равной степени сопряжены со смертельным риском, который не остается тайной для действующего лица и перспектива которого это последнее не устрашает; вся разница заключается в степени вероятности смертельного исхода. Не без некоторого основания говорят иногда, что ученый, истощив свои силы постоянным бодрствованием, убил самого себя. Все эти случаи рисуют нам виды зачаточного самоубийства, и если, руководясь правильным методом, их не надо смешивать с видами полного самоубийства, то все же не надо терять из виду и то отношение родства, которое между ними существует. Самоубийство получает совсем различную окраску в том случае, если оно неразрывно связано с актами мужества или самоотвержения, и в том случае, если оно является результатом неосторожности или простой небрежности. В дальнейшем изложении будет понятнее, в каком смысле поучительно это сближение.

II

Но разве самоубийство при таком его понимании может интересовать социолога? Если оно представляет собою индивидуальный поступок, касающийся только данного индивида, то, казалось бы, в силу этого всецело должно зависеть от индивидуальных факторов, т. е. быть предметом изучения психологии. В самом деле, разве поступок самоубийцы не объясняется обыкновенно его темпераментом, характером, предшествовавшими обстоятельствами, событиями его частной жизни? В данный момент нашей задачей не является изыскание того, в какой степени и при каких условиях будет законно таким образом изучать вопрос о самоубийстве: но можно сказать только одно с полной достоверностью, а именно, что оно может быть рассматриваемо с совершенно иной точки зрения. Если вместо того, чтобы видеть в этих случаях совершенно особые для каждого из них обстоятельства, независимые друг от друга и требующие каждого специального рассмотрения, взять общее число самоубийств, совершенных данным обществом в данный промежуток времени, то можно установить, что полученная таким образом сумма не явится простой суммой независимых между собой единиц, голым

собранием фактов, но что эта цифра образует новый факт *sui generis*, имеющий свое внутреннее единство и свою индивидуальность, а значит, свою особую природу, тем более для нас важную, что она по существу своему глубоко социальна. Если только наблюдение не захватывает очень обширного периода времени, то для данного общества цифра самоубийств остается почти неизменной.

Из года в год обстоятельства, при которых протекает жизнь народов, остаются все те же. Правда, случаются иногда важные изменения, но они являются только исключениями. Можно, между прочим, видеть, что они всегда совпадают с каким-нибудь кризисом, мимолетно затрагивающим социальное положение страны.

Если наблюдать более обширный промежуток времени, то можно констатировать еще более важные изменения; но тогда они делаются хроническими; они указывают только на то, что характерные основы общества в то же самое время претерпели глубокие изменения. Интересно заметить, что изменения эти происходят вовсе не так медленно, как это им приписывается громадным числом наблюдателей, а напротив, обладают резким и прогрессирующим характером. Иногда после целого ряда лет, в течение которых цифры колебались в очень близких границах, замечается повышение, которое, после некоторого колебания, устанавливается как постоянная величина. Это доказывает, что всякое внезапно наступившее нарушение социального равновесия всегда требует достаточного времени для того, чтобы проявить все свои последствия. Итак, эволюция самоубийства выражается в волнообразных, последовательных и ясно различаемых движениях, совершающихся толчками, то усиливающимися, то приостанавливающимися, чтобы тотчас же начаться снова.

Можно видеть такую волну, образовавшуюся почти во всей Европе на другой день после событий 1848 г., т. е. в различных государствах на протяжении 1850–1853 гг.; другая такая волна началась в Германии после войны 1866 г.; во Франции ее можно было наблюдать раньше, в эпоху апогея империи – около 1860 г. В Англии она замечается около 1868 г., т. е. после торговой революции, вызванной вновь заключенными торговыми договорами. Может быть, этой же причиной создано то новое увеличение случаев самоубийства, которое относится у нас к 1865 г. Наконец, после войны 1870 г. началось новое, до сих пор продолжающееся повышение, которое захватило почти всю Европу.

Каждое общество в известный исторический момент имеет определенную склонность к самоубийству. Интенсивность этой склонности измеряют обыкновенно отношением общей цифры добровольных смертей к населению без различия пола и возраста. Мы назовем эту цифровую величину *общим процентом смертности-самоубийства, присущим определенному обществу*. Вычисляют его обыкновенно по отношению к 1 000 000 или к 100 000 жителей. Этот процент не только постоянен для долгого периода времени, но неизменяемость его оказывается еще большею, чем та, которой обладают главные демографические явления. Общий процент смертности изменяется гораздо чаще, из года в год, и те колебания, которым он подвергается, гораздо более значительны. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить, в какой мере варьируют на протяжении нескольких лет процент общей смертности и процент самоубийств.

Для того чтобы облегчить это сравнение, мы как по отношению обыкновенных смертных случаев, так и по отношению самоубийств изобразим процент каждого года, отправляясь от средней цифры периода, принятой за 100. Колебание из года в год, а также отклонение от среднего процента делаются, таким образом, сравнимыми между собой. И это сравнение показывает, что на протяжении каждого такого периода размеры колебаний гораздо более значительны на стороне общей смертности, чем на стороне самоубийства: в среднем первые колебания в два раза больше.

Только отклонение *minimima* между двумя последовательными годами выражается почти одинаковой цифрой в обоих случаях в течение двух последних периодов. Но в динамике

общей смертности этот *minimum* является исключением, тогда как, наоборот, годовые колебания самоубийств отклоняются от него лишь в виде исключения. В этом можно убедиться, сравнивая среднюю цифру уклонений. Правда, если сравнивать не следующие один за другим годы одного и того же периода, но средние цифры различных периодов, то отклонения, которые наблюдаются в проценте смертности, становятся очень незначительными. Изменения в противоположном смысле, наблюдаемые из года в год и зависящие от преходящих и случайных причин, взаимно нейтрализуются, когда за основание расчета берется большая единица времени; они исчезают в средней цифре, которая благодаря такой взаимной нейтрализации отклонений оказывается в достаточной мере постоянной. Так, во Франции в 1841–1870 гг. последовательно для каждого десятилетия средняя цифра колебалась следующим образом: 23,18; 23,72; 22,87. Но во-первых, тот факт сам по себе уже достаточно замечателен, что самоубийство из года в год обнаруживает такое же, если не большее, постоянство, как общая смертность при сравнении средних за целые периоды. Более того, средний процент смертности достигает этой правильности только в том случае, если он становится чем-то общим и безличным, почти совершенно неспособным характеризовать данное общество.

В самом деле, средняя смертность одинаково устойчива для всех народов, достигших одного и того же уровня культуры; во всяком случае, разница бывает очень незначительна. Так, во Франции она колеблется на протяжении 1841–1870 гг. около 23 смертных случаев на 1000 жителей; в то же время в Бельгии она достигает 23,93, 22,5, 24,04; в Англии – 22,32, 22,21, 22,68; в Дании – 22,65 (1845–1849 гг.), 20,44 (1855–1859 гг.), 20,4 (1861–1868 гг.). Если исключить из этого перечисления Россию, которая может считаться европейской страной только географически, то единственные великие державы Европы, у которых величина смертности отличается довольно значительно от вышеприведенных цифр, это Италия, где уровень достигал еще в 1861–1867 гг. 30,6, и Австрия, где он еще более значителен, а именно 32,52. Наоборот, процент самоубийств, почти не изменяясь по годам, удваивается, утраивается, учетверяется и т. д. при переходе из одной страны в другую. Значит, он гораздо больше, чем процент общей смертности, специфичен для каждой социальной группы и может рассматриваться как ее характерологическая черта. Он настолько тесно связан с тем, что есть самого глубокого и основного в каждом национальном темпераменте, что тот порядок, в котором располагаются в этом отношении различные общества, остается почти неизменным в самые различные эпохи. На протяжении трех периодов (1866–1870; 1871–1875; 1874–1878 гг. – *Примеч. ред.*) количество самоубийств возрастало повсюду, но и в этом движении вперед различные народы сохраняли неизменной относительную разницу; у каждого из них был свой коэффициент ускорения.

Процент самоубийств указывает на вполне определенную закономерность явлений, подтверждаемую одновременно и его перманентностью, и его изменяемостью; эта перманентность была бы необъяснимой, если бы она не зависела от сочетания связанных между собою характерных признаков, которые, несмотря на разнородность окружающих их обстоятельств, одновременно утверждают друг друга; изменяемость их свидетельствует об индивидуальной и конкретной природе этих характерных черт, ибо они изменяются вместе с изменением самой социальной индивидуальности. Словом, эти статистические данные выражают наклонность к самоубийству, которой коллективно подвержено каждое общество. Мы не будем теперь разбирать, в чем именно заключается эта наклонность и составляет ли она состояние *sui generis* коллективной души, имеющее свою собственную реальность, или же она представляет собой только сумму индивидуальных состояний. Хотя предшествующие рассуждения с трудом согласуются с этой последней гипотезой, мы оставляем сейчас этот вопрос открытым и будем говорить о нем впоследствии на страницах настоящей книги. Что бы ни думали по этому поводу, но наклонность эта существует под тем или иным названием. В каждом обществе можно констатировать предрасположение к известному количеству добровольных смертей. Такое пред-

расположение может служить предметом социального изучения в пределах социологии. Этим-то вопросом мы и намерены заняться.

Мы не собираемся дать возможно более полный перечень всех условий, которые могут служить причиной частных случаев самоубийства, а ставим себе задачей отыскать те из них, от которых зависит строго определенный факт, названный нами социальным процентом самоубийств. Нельзя не согласиться с тем, что эти два вопроса значительно разнятся между собой, несмотря на существующую между ними связь. В самом деле, среди индивидуальных условий есть, без сомнения, много таких, которые не являются достаточно общими для того, чтобы оказать влияние на соотношение между общей цифрой добровольных смертей и численностью населения. Условия эти могут повлиять таким образом, что тот или иной отдельный индивид лишит себя жизни, но они не могут усилить или ослабить склонность к самоубийству всего общества *in globo*. Точно так же если эти условия не зависят от известного состояния социальной организации данного общества, то они не имеют социального отражения и потому могут быть интересны для психолога, но не для социолога; предметом изыскания последнего служат причины, при посредстве которых можно оказать воздействие не на отдельных индивидов, а на целую группу. Поэтому среди факторов самоубийства социолога касаются только те, которые действуют на целое общество. Процент самоубийств есть продукт этих факторов, и вот почему они должны интересовать нас.

Таков предмет предлагаемой нами книги, обнимающей по нашему плану три части. Явление, которое придется нам здесь объяснять, может зависеть или от причин внесоциальных в самом общем смысле этого слова, или от чисто социальных причин. Мы сначала займемся рассмотрением влияния первых и увидим, что его или не существует, или оно очень ограничено. Мы определим затем природу социальных причин, тот способ, каким они осуществляют свое действие, и те отношения, в каких они находятся к индивидуальным состояниям, сопровождающим различные виды самоубийства.

Закончив это изыскание, мы будем в состоянии с большей точностью определить, в чем заключается социальный элемент самоубийства, т. е. в чем заключается эта коллективная склонность, о которой мы только что говорили, а также в каком отношении стоит она к другим социальным фактам и каким путем оказалось бы возможным повлиять на нее.

Книга I

Факторы внесоциального характера

Глава I

Самоубийство и психопатические состояния

Есть два рода внесоциальных причин, которым *a priori* можно приписать влияние на количество самоубийств: психоорганическое предрасположение и природа окружающей физической среды. В индивидуальном строении людей или, во всяком случае, в строении значительного класса человеческих индивидов может существовать склонность различной силы, в зависимости от данной страны, – склонность, которая непосредственно влечет человека к самоубийству; с другой стороны, климат, температура и т. д. могли бы, в силу того воздействия, которое они производят на организм человека, приводить косвенно к тем же результатам. Гипотеза эта, во всяком случае, не может быть отвергнута без предварительного обсуждения. Мы последовательно рассмотрим эти два рода факторов и постараемся узнать, имеют ли они на самом деле какое-нибудь значение для изучаемого нами явления, и если да, то каково оно.

I

Существуют болезни, общий годовой процент которых обыкновенно относительно постоянен для данного общества; и в то же время он значительно колеблется у различных народов. Таково – сумасшествие. Если бы были какие-нибудь точные данные, на основании которых в каждой добровольной смерти можно было видеть проявление сумасшествия, то поставленная нами проблема была бы разрешена и самоубийство было бы тогда не чем иным, как индивидуальной болезнью. Этот тезис поддерживается значительным числом психиатров. Так, например, *Esquirol* говорит: «В самоубийстве проявляются все черты сумасшествия («*Maladies mentales*»). Только в состоянии безумия человек способен покушаться на свою жизнь, и все самоубийцы – душевнобольные люди». Исходя из этого принципа, он пришел к тому заключению, что, будучи произвольным фактом, самоубийство не должно быть преследуемо законом.

Falret u Moreau de Tours высказывают почти одинаковое с ним мнение по этому вопросу. Правда, последний в том же месте своей книги, где он излагает разделяемую им доктрину, делает замечание, которого одного достаточно для того, чтобы вызвать сомнение в справедливости этой доктрины. «Должно ли самоубийство, – говорит он, – рассматриваться во всех случаях как результат сумасшествия? Не желая решать здесь этого трудного вопроса, скажем, что в общем, чем глубже удастся изучить сумасшествие, чем больше накапливается по этому вопросу опыта, чем больше, наконец, делается наблюдений над сумасшедшими, тем сильнее подсказывает нам инстинкт, что это мнение вполне правильно». В 1845 г. доктор Бурден в своей брошюре, появление которой произвело большую сенсацию в медицинском мире, еще с большей убежденностью настаивал на этом предположении.

Эту теорию можно защищать двояко: можно утверждать, с одной стороны, что самоубийство само есть болезнь *sui generis*, что оно представляет собой особый вид сумасшествия, или же, не выделяя его в качестве особого вида, усматривать в нем просто эпизодическое явление того или иного вида сумасшествия, явление, не встречающееся у людей со здоровым рас-

судком. Первый тезис защищает *Bourdin. Esquirol*, наоборот, является наиболее авторитетным представителем второго мнения. «Судя по имеющемуся в нашем распоряжении материалу, – говорит он, – можно заключить, что самоубийство представляет собой явление, зависящее от громадного количества различных причин, что проявляется оно в самых разнообразных формах и что это явление не знаменует собой никакой определенной болезни. Для того чтобы сделать из самоубийства болезнь *sui generis*, прибегают к общим выводам, опровергаемым опытом».

Из упомянутых двух способов объяснения самоубийства путем сумасшествия второй менее убедителен и солиден в силу того принципа, что не может быть отрицательных опытов. На самом деле невозможно составить полный список всех случаев самоубийства и показать в каждом из них влияние сумасшествия. Можно говорить только об отдельных частных случаях, которые, несмотря на свою многочисленность, не могут служить основанием для научного обобщения; если обратные примеры не приводятся, то они все же остаются возможными. Между тем доказательство другого положения, если бы его вообще можно было построить, дало бы самые убедительные результаты. Если бы удалось доказать, что самоубийство есть специфическое сумасшествие, имеющее свои отличительные, характерные черты и свое ясно выраженное развитие, вопрос был бы решен в том смысле, что всякий самоубийца есть сумасшедший. Но существует ли самоубийство-помешательство?

II

Склонность к самоубийству, по природе своей специфическая и вполне определенная, если и является разновидностью сумасшествия, то во всяком случае может быть только сумасшествием частичным и ограничивающимся одним проявлением. Для того чтобы она могла характеризовать собой особый вид помешательства, надо, чтобы последнее было направлено именно на один этот поступок, потому что если их будет много, то не будет никакого разумного основания брать для определения помешательства данный, а не какой-либо другой факт. По традиционной терминологии, подобное частичное сумасшествие называется мономанией. Мономан – это душевнобольной, сознание которого абсолютно ясно, кроме одного пункта; поражение его интеллекта строго локализовано. Так, например, в известные моменты его охватывает безрассудная и нелепая страсть воровать, пить или оскорблять окружающих; но все его остальные поступки и мысли вполне нормальны и координированны. Если существует помешательство-самоубийство, то оно не может быть не чем иным, как мономанией, и так его чаще всего и квалифицируют.

С другой стороны, говорят, что если допустить существование особой болезни, называемой мономанией, то в нее легко можно включить и самоубийство; все характерное для этого вида душевных болезней, согласно данному нами определению, заключается в том, что они не вносят существенного расстройства в интеллект человека. Основание умственной жизни одно и то же и у мономана, и у человека душевно здорового; только у первого определенное психическое состояние, как патологическое, очень рельефно отделяется от этого основного фона. Мономания – это просто преувеличенная страсть среди ряда различных склонностей, ложная идея в ряде представлений, но идея такой силы, что она овладевает умом человека и всецело поработочает его. Например, чувство честолюбия из нормального становится болезненным и превращается в манию величия, раз оно принимает такие размеры, что все остальные мозговые функции как бы парализуются им. Достаточно одного резкого движения чувства, для того чтобы умственное равновесие поколебалось и мономания проявила себя. Итак, можно думать, что самоубийство совершается под влиянием какой-нибудь ненормальной страсти, причем она либо разрешается одним ударом, либо, наоборот, идея самоубийства назревает постепенно. Можно даже утверждать, и это будет, по-видимому, убедительно, что всегда необходима какая-

нибудь сила подобного рода, чтобы нейтрализовать основной инстинкт самосохранения. С другой стороны, множество самоубийц, вне того особого акта, которым они прерывают течение своей жизни, ничем не отличаются от других людей; следовательно, нет никакого повода для того, чтобы приписывать им общее безумие. Нам понятно теперь, почему под этикетом моноμανии самоубийство нашло себе место в рядах сумасшествия.

Но существует ли мономания? Долгое время существование ее не подвергалось сомнению; психиатры единодушно принимали теорию «частичного сумасшествия». Ее не только считали доказанной различными клиническими наблюдениями, но даже находили для нее подтверждение в данных психологии. В то время утверждалось, что человеческий ум состоит из различных свойств и разрозненных сил, которые действуют по большей части вместе, но способны действовать и порознь; поэтому вполне естественно, что они могут каждая в отдельности быть захвачены болезнью. Если человек может проявлять разум отдельно от воли и чувствительность отдельно от разума, то почему же не могут тогда существовать болезни разума или воли без того, чтобы была задета чувствительность и *vice versa*? Применяя тот же принцип по отношению к более специальным формам этих душевных способностей, можно прийти к заключению, что может быть поражена исключительно только одна какая-нибудь склонность точно так же, как и отдельная идея или отдельный акт.

В данный момент это мнение всюду отвергнуто. Без сомнения, нельзя доказать прямо путем наблюдения отсутствие мономаний; но вполне установлено, что нельзя привести ни одного бесспорного случая их. Никогда клиническому опыту не удавалось доказать болезненной склонности разума в состоянии полной изоляции; всякий раз, как какая-нибудь одна способность души затронута болезнью, другие поражены одновременно с нею, и если сторонники моноμανии не заметили существования этой общей болезненности, то это обстоятельство свидетельствует только о неправильности их наблюдения. «Возьмем, например, – говорит *Falret*, – сумасшедшего, занятого религиозными идеями, которого отнесли бы, конечно, к разряду религиозных мономанов. Он считает себя вдохновленным свыше, посланным Богом на землю, несущим новое религиозное откровение. Это совершенно безумная мысль, скажете вы, но вне области религиозных идей он рассуждает подобно всем остальным людям. Побеседуйте с ним более внимательно, и вы тотчас же заметите в нем другие болезненные идеи, параллельные религиозным: вы найдете у него манию величия; он будет смотреть на себя, как на творца новой религии, реформатора всего общества, может быть, он будет считать себя предназначенным и для еще более высокой судьбы... Допустим, что, поискав у такого больного признаков мании величия, вы бы не нашли их, но тогда бы вы констатировали у него идею самоунижения или патологический страх. Поглощенный религиозными идеями больной будет считать себя вполне потерянным, обреченным на гибель человеком и т. д.». Конечно, все эти болезненные явления не встречаются одновременно у одного и того же человека, но их часто можно встретить вместе, или же если они не проявляются все в один и тот же момент болезни, то следуют друг за другом, совпадая с более или менее близкими ее фазами. Наконец, независимо от этих проявлений частного характера у мнимых мономанов наблюдается особое общее состояние всей психической жизни, составляющее основание болезни, а все безумные идеи являются только его наружным и временным выражением; состояние это заключается в чрезмерной возбужденности, или в крайнем упадке духа, или же в общем извращении. В таких случаях главным образом наблюдается нарушение равновесия и координации мыслей, так же как и движений. Больной рассуждает, и вместе с тем в цепи его мыслей бывают пробелы; он ведет себя, не делая абсурдных выводов, но в поведении его нет последовательности. Итак, будет не вполне правильным сказать, что это – человек частично сумасшедший, потому что, как только безумие проникает в сознание человека, то овладевает им целиком.

Помимо того, основание, на котором покоится вышеуказанная гипотеза моноμανии, находится в полном противоречии с действительными данными науки. Старинная психологи-

ческая теория не находит больше защитников. В различных видах сознательной деятельности теперь уже больше не видят разрозненных сил, которые соединяются и находят свое единство только в какой-нибудь метафизической субстанции, а видят в них связные функции этой деятельности; поэтому невозможно, чтобы одна из них была повреждена без того, чтобы это повреждение не отозвалось на всех остальных. Повреждение это отзывается на мозговой жизни человека глубже, чем на всем его организме, потому что психические функции имеют слишком общие органы, для того чтобы они могли быть затронуты каждый в отдельности. Распределение их между различными областями головного мозга не имеет в себе ничего прочно установленного; это доказывается той легкостью, с которой различные части мозга могут замещать друг друга в случае, если какая-нибудь из них окажется неспособной исполнять свою задачу. Сплетение их слишком сложно для того, чтобы сумасшествие могло коснуться одних безнаказанно для других. Еще более очевидно, что безумие не может коснуться одной какой-нибудь мысли или чувства, без того чтобы вся психическая жизнь в корне своем не была им затронута. Представления и наклонности человека не имеют своего самостоятельного существования; они не составляют также и маленьких субстанций, духовных атомов, которые, сцепляясь, образовали бы ум человека. Они служат только для внешнего выражения общего состояния сознательных центров, они истекают из них и являются их выразителями; поэтому они не могут принимать болезненного характера без того, чтобы общее состояние не было само по себе повреждено.

Но если умственные повреждения не могут локализоваться, то и не может быть мономании в собственном смысле этого слова. Повреждения, по-видимому, местного происхождения, носящие в зависимости от этого то или иное название, всегда являются результатом более обширной пертурбации; они на самом деле не самостоятельные болезни, а частичные и второстепенные проявления более общих болезней. Если не существует мономании вообще, то не существует и мономании самоубийства, а поэтому самоубийство не может быть определенным видом сумасшествия.

III

Остается предположение, что самоубийство есть известный момент сумасшествия; если оно само по себе не есть особый вид сумасшествия, то нет такой формы душевных болезней, в которой оно не могло бы проявиться; оно становится в таком случае эпизодическим болезненным припадком, но довольно часто встречающимся. Можно ли из этих повторяющихся случаев вывести заключение, что самоубийство немислимо в здоровом состоянии и что оно есть известный признак психического заболевания?

Такое заключение было бы очень поспешным, так как среди поступков психически больных людей есть такие, которые им только свойственны и которые могут считаться для них характерными; но есть и такие, которые, наоборот, у них одинаковы со здоровыми людьми, хотя у сумасшедших они и получают особую окраску. Рассуждая *a priori*, нет никаких данных для того, чтобы помещать самоубийство в первую из этих категорий. Конечно, психиатры утверждают, что большинство самоубийц, которых они наблюдали, являли все признаки умственного расстройства, но этого показания недостаточно для разрешения вопроса. Подобные наблюдения слишком поверхностны, тем более что из такого совершенно специального опыта нельзя вывести никакого общего закона. Самоубийцы, наблюдаемые психиатрами, были, конечно, душевнобольными людьми, но они не могут служить бесспорным доказательством приводимой здесь гипотезы, особенно при наличии большого числа самоубийц, которых эти психиатры не наблюдали, и особенно принимая во внимание численный перевес последних.

Единственный правильный метод состоит в том, чтобы классифицировать самоубийства, совершенные умалишенными согласно их существенным особенностям, и, таким образом, установить главные типы самоубийств в состоянии психического расстройства и произвести

точное изыскание, действительно ли все случаи добровольной смерти подходят под эту рубрику. Иначе говоря, для того чтобы узнать, есть ли самоубийство акт, исключительно присущий сумасшедшим, надо определить те формы, которые оно принимает при умственном расстройстве, и решить потом вопрос, ему ли одному оно свойственно. Специалистами по этому вопросу сделано очень мало в отношении классификации самоубийств сумасшедших, но тем не менее можно считать, что следующие четыре типа содержат наиболее яркие виды. Основные черты этой классификации мы заимствуем у *Jousset* и *Mogean de Tours*.

I. *Маниакальное самоубийство*. Этот вид самоубийства присущ людям, страдающим галлюцинациями или бредовыми идеями. Больной убивает себя для того, чтобы избежать воображаемой опасности или позора, или действует, как бы повинаясь таинственному приказанию, полученному им свыше и т. д. Но мотивы и формы развития этого вида самоубийства отражают общий характер той болезни, от которой они проистекают, т. е. той или иной мании. Отличительной чертой этого душевного заболевания является чрезвычайная общая подвижность. Самые разнообразные и противоречивые чувства и мысли сменяют одна другую в мозгу маньяка с необыкновенной быстротой. Последний находится поэтому как бы в постоянном вихре чередующихся настроений. Едва успеет фиксироваться одна полоса сознания, как она уже заслоняется другой; то же можно сказать и о причинах, вызывающих самоубийства маньяков; они рождаются и исчезают, превращаясь из одних в другие с изумительной быстротой. Внезапно появляется галлюцинация или бредовое состояние, которые побуждают маньяка лишить себя жизни; они влекут за собой попытку самоубийства. Через несколько мгновений положение вещей изменяется, и если попытка оканчивается неудачей, то по крайней мере в данный момент маньяк ее не возобновляет, а если и возвращается к ней позднее, то в силу какого-нибудь другого мотива. Самое незначительное событие может привести к самым внезапным метаморфозам. Один подобный больной, желая покончить с собой, бросился в реку, большую часть года не особенно глубокую. Он принужден был искать достаточно глубокого места для того, чтобы утопиться, пока его не заметил таможенный солдат. Угадав его намерение, он прицелился и пригрозил ему, что будет стрелять, если тот не выйдет из воды. Тотчас же наш больной вылезает из воды, идет домой и уже не думает более о самоубийстве.

II. *Самоубийство меланхоликов*. Этот вид самоубийства встречается у людей, находящихся в состоянии высшего упадка духа, глубочайшей скорби; в таком состоянии человек не может вполне здраво определить свои отношения к окружающим его лицам и предметам. Его не привлекают никакие удовольствия, все рисуется ему в черном свете, жизнь представляется утомительной и безрадостной. Ввиду того что такое состояние не прекращается ни на минуту, у больного начинает просыпаться неотступная мысль о самоубийстве; мысль эта крепко фиксируется в его мозгу, и определяющие ее общие мотивы остаются неизвестными. Одна молодая девушка, дочь вполне здоровых родителей, проведшая детство в деревне, должна была лет в 14 уехать в город, для того чтобы продолжать свое образование. С этого момента ее охватывает невыразимая тоска; она начинает стремиться к одиночеству, и скоро в ней просыпается ничем не победимое желание умереть. «Целыми часами она сидит неподвижно с опущенными глазами, сгорбившись, в позе и настроении человека, предчувствующего что-то зловещее; у нее созревает твердое решение утопиться, и она ищет для этого наиболее уединенного места с тем, чтобы никто не мог спасти ее». Тем не менее, прекрасно сознавая, что ее поступок будет преступлением, она на некоторое время откладывает его выполнение. Через год мысль о самоубийстве с большей силой охватывает ее, и она на протяжении небольшого количества времени делает несколько неудачных попыток покончить с собой.

Часто на фоне общего отчаяния появляются галлюцинации и бредовые идеи, непосредственно влекущие больного к самоубийству, но в них нет той подвижности, которая замечается

у только что рассмотренного нами типа маньяков. Напротив, идеи эти вполне определены и неподвижны, как и общее состояние духа, из которого они проистекают. Боязнь, мучающая больного, упреки, которые он себе делает, несчастья, которые он себе рисует, всегда одни и те же. Если этот вид самоубийства определяется воображаемыми причинами, как и в предыдущем случае, то мысль о нем отличается своим хроническим характером и потому неотвязчиво стоит в мозгу человека. Больные, принадлежащие к этой категории, спокойно обдумывают все детали своего плана; в достижении своей цели они проявляют даже невероятное постоянство и иногда удивительную хитрость. Постоянная неустойчивость мысли маньяка очень мало похожа на эту последовательность меланхолика. У одного можно наблюдать только преходящие вспышки, не обусловленные длительными причинами, у другого, напротив, постоянное настроение, тесно связанное с самым характером больного.

III. *Самоубийство одержимых навязчивыми идеями.* В этом состоянии самоубийство не обуславливается никакими мотивами, ни реальными, ни воображаемыми, а только навязчивой мыслью о смерти, которая без всякой видимой причины всецело владеет умом больного. Он одержим желанием покончить с собой, хотя прекрасно знает, что у него нет к этому никакого разумного повода. Это инстинктивное желание не подчиняется никаким размышлениям и рассуждениям, подобно тем безудержным потребностям воровать, убивать, поджигать, которые раньше пытались истолковать как особые виды мономании. Так как больной отдает себе отчет в нелепости своего желания, то он пробует вначале бороться с ним, но все время, пока воля противится этому стремлению, больной грустен, подавлен, его грудь сжимает тоска, которая с каждым днем усиливается. В силу этой особенности данному виду самоубийства дают иногда название «самоубийство от тоски» (*suicide anxieux*). Это состояние было превосходно описано однажды одним больным психиатру *Brierre de Boismont*. «Я служу в одной торговой фирме и удовлетворительно исполняю возложенные на меня обязанности, но действую все время, как автомат, и обращенные ко мне слова звучат в моих ушах так, как если бы они раздавались в пустом пространстве. Меня бесконечно мучает ни на минуту не покидающая меня мысль о самоубийстве. Целый год я уже нахожусь в таком состоянии; вначале оно было выражено лишь неясно, а теперь, приблизительно в течение двух месяцев, оно не оставляет меня ни на минуту, *хотя у меня нет никакого повода желать смерти*. Физически я здоров, никто в моей семье не был подвержен подобному душевному недугу, я не потерпел никаких потерь, жалованья моего вполне достаточно для того, чтобы доставлять себе свойственные моему возрасту развлечения». Но едва больной прекратил борьбу с самим собой и решил убить себя, тревога его кончилась и к нему вернулось спокойствие. Если попытка самоубийства оканчивается неудачей, то этого оказывается достаточно для того, чтобы больной на время успокоился; можно сказать, что у него проходит само желание лишить себя жизни.

IV. *Автоматическое или импульсивное самоубийство.* Этот вид самоубийства так же мало мотивирован, как и предыдущий; ни в действительности, ни в воображении больного для него нет никакого основания. Разница между ним и предыдущим видом заключается в том, что вместо того, чтобы быть результатом навязчивой идеи, которая более или менее долгое время преследует больного и лишь постепенно овладевает его волей, этот вид самоубийства проистекает от внезапного и непобедимого импульса. Мысль в одно мгновение созревает до конца и вызывает самоубийство или по крайней мере толкает больного на ряд предварительных действий. Эта внезапность решения напоминает нам то, что мы раньше видели при той или иной мании; но самоубийство маниакальное всегда имеет хотя и неразумное, но все же основание. Здесь же, наоборот, мысль о самоубийстве зарождается внезапно и совершенно автоматически, без наличности какого-нибудь предварительного сознательного решения, ведет к роковой развязке. Вид ножа, прогулка по краю пропасти и т. д. мгновенно порождают мысль о само-

убийстве, и выполнение ее так стремительно, что больные часто совершенно не осознают того, что произошло. «Человек, – говорит *Brierre*, – спокойно разговаривает с друзьями; вдруг он внезапно перескакивает через барьер и бросается в воду. Его тотчас же вытаскивают и спрашивают о мотивах его поступка. Он отвечает, что сам не знает о них и что он действовал под влиянием силы, управлявшей им помимо его воли». «Самое удивительное, – говорит другой больной, – что я совершенно не могу вспомнить, каким образом я взобрался на окно и какая мысль была у меня тогда в голове; я совершенно не хотел убивать себя, по крайней мере в данный момент я не могу вспомнить, чтобы у меня было такое желание». При более слабой степени болезни люди чувствуют приближение припадков, и им удается избежать непобедимого очарования орудия смерти, если они не оглядываясь бегут от него.

В общем, все случаи самоубийства среди душевнобольных лишены всякого мотива или определяются совершенно вымышленными мотивами. Громадное количество добровольных смертей не могут быть отнесены ни к той, ни к другой категории; большинство из них имеют мотивы, не лишённые реального основания; поэтому нельзя, не злоупотребляя словами, считать каждого самоубийцу сумасшедшим. Из всех характеризованных нами случаев самоубийства наиболее трудно, по-видимому, отличить от самоубийств, наблюдаемых среди здоровых людей, самоубийство меланхоликов; очень часто вполне нормальный человек, кончающий с собой, находится в крайне подавленном и угнетённом состоянии, как и человек, страдающий болезненной меланхолией. Но все же между ними всегда существует основное различие; состояние духа первого и вытекающий из этого состояния поступок имеют некоторую объективную причину, тогда как у второго самоубийство не стоит ни в какой связи с внешними обстоятельствами. В общем, самоубийства психически ненормальных людей отличаются от остальных точно так же, как иллюзия и галлюцинации отличаются от нормальных восприятий и как автоматические импульсы – от вполне сознательных поступков. Возможен, конечно, непрерывный переход от одних к другим, но если бы это было достаточной причиной для того, чтобы отождествлять их, то пришлось бы вообще устранить различие между здоровьем и болезнью, ибо вторая – только видоизменение первого.

Если бы даже и удалось установить, что средние люди никогда не лишают себя жизни и что решающиеся на самоубийство представляют собой некоторую аномалию, то все же это не давало бы нам права смотреть на сумасшествие как на непременно условие самоубийства; сумасшедший не есть просто человек, несколько иначе думающий и поступающий, чем обыкновенная средняя масса, поэтому тесно связать самоубийство с сумасшествием можно только в том случае, если произвольно ограничить значение слов. «Тот, кто, внимая только голосу благородства и великодушия, подвергает себя заведомой опасности или же неминуемой смерти и добровольно жертвует жизнью во имя закона, веры или спасения своей родины, не может называться самоубийцей», – восклицает *Esquirol* и приводит примеры Дешия, Асса и т. д. *Falret* точно так же отказывается считать самоубийцами Курция, Кодра и Аристодема; подобным же образом *Bourdin* исключает из понятия самоубийства все случаи добровольной смерти, не только вызванные твердостью в вере или в политических убеждениях, но даже экзальтацией чувства. Но мы знаем, что природа побудительных причин, непосредственно определяющих собой самоубийство, такова, что они не могут ни служить для него определением, ни провести границу между самоубийством и несамоубийством. Все случаи смерти, являющиеся результатом поступка самого пострадавшего лица, действовавшего с полным сознанием этого результата, представляют, независимо от своей цели, слишком существенное сходство для того, чтобы их можно было распределить по различным родам; при самых разнообразных мотивах они могут считаться только разновидностями одного и того же рода; кроме того, чтобы установить подобное различие, нужен другой какой-нибудь критерий, а не преследуемая жертвой цель, которая всегда более или менее проблематична. Таким образом, мы можем по крайней мере установить группу самоубийств, в которых отсутствует элемент сумасшествия. Но

если уже исключениям открыть свободный вход, то трудно бывает потом закрыть его, потому что между смертями, внушенными исключительным великодушием, и смертями, вызванными чувствами менее возвышенными, не существует резкой границы; переход от одних к другим совершается без всякого видимого скачка. И если первые из этих случаев называть самоубийством, то почему бы не квалифицировать таким же образом и вторые. Итак, мы установили, что есть громадное количество случаев самоубийства без всякой примеси сумасшествия; их можно распознавать по двоякому признаку: во-первых, они вполне обдуманны, во-вторых, представления, из которых складывается мышление подобных субъектов, не являются галлюцинациями в чистом виде. Из всего сказанного ясно, что этот так часто поднимающийся и волнующий вопрос может быть разрешен без вмешательства проблемы свободы. Для того чтобы узнать, все ли самоубийцы – сумасшедшие, мы не спрашивали себя, свободно ли они действуют; мы основывали свое мнение исключительно на эмпирических признаках, которые представляют для нашего наблюдения различные виды добровольной смерти.

IV

Самоубийство умалишенных не обнимает собой всех случаев; это только известная разновидность, и поэтому психопатические состояния, характеризующие психическое расстройство, не могут служить показателем склонности к самоубийству вообще. Но между душевной болезнью и полным равновесием интеллекта есть целый ряд промежуточных ступеней: это – различного вида аномалии, объединяющиеся обыкновенно под общим названием неврастения. Мы должны теперь исследовать, не играют ли они значительной роли, при отсутствии сумасшествия, в генезисе того явления, которое нас интересует. Этот вопрос вытекает из самого существования самоубийства душевнобольных людей. В самом деле, если глубокого извращения нервной системы достаточно для того, чтобы в полной мере породить самоубийство, то меньшее потрясение должно оказать в более слабой степени вполне однородное влияние. Неврастения представляет собой род зачаточного сумасшествия, и поэтому в отдельных случаях она должна иметь одинаковые с ним последствия. Неврастения имеет гораздо более широкое распространение, чем душевные болезни, и число жертв ее неуклонно возрастает; поэтому вполне возможно, что общая сумма аномалий, известных под именем неврастения, является одним из факторов, от которых зависит процент самоубийств.

Вполне понятно, конечно, что неврастения предрасполагает к самоубийству, так как неврастеники по своему темпераменту как бы предназначены к страданию. Известно, что страдание в общем вытекает из чрезмерного потрясения нервной системы; слишком сильная нервная волна бывает чаще всего очень болезненной. Но это максимальное напряжение нервной системы, за пределом которого начинается страдание, изменяется в зависимости от индивида; предел этот выше у людей с более крепкими нервами и ниже – у людей слабых; таким образом, у последних полоса страдания начинается скорее, чем у первых. Каждое получаемое впечатление дает неврастенику повод к дурному расположению духа; каждое движение вызывает усталость, нервы его, как и поверхность кожи, раздражаются при малейшем прикосновении. Все отправления физических функций, совершающиеся обыкновенно у здоровых людей совершенно спокойно, являются для него по большей части источником болезненных ощущений. Правда, что в противовес этому полоса наслаждений начинается у таких индивидов также гораздо ниже, потому что чрезмерная чувствительность ослабевшей нервной системы делает ее восприимчивой к такому возбуждению, которое ничем не отозвалось бы на нормальном организме. Незначительное событие может явиться для подобного субъекта источником безграничного удовольствия. Итак, по-видимому, то, что неврастеник теряет в одном отношении, он возмещает в другом и благодаря этой компенсации не менее приспособлен для всякой борьбы, чем все прочие люди. На самом же деле это совершенно не так, и слабость неврастеника постоянно ска-

зывается в жизни, так как обычные впечатления и ощущения, многократно повторяющиеся в жизни среднего человека, всегда обладают достаточной силой. Поэтому у неврастеника жизнь никогда не бывает уравновешенной. Конечно, если ему удастся уйти из этой жизни, создать себе обстановку, куда внешний шум долетал бы только издалека, то он тем самым достигает менее мучительного для себя существования. Именно поэтому мы часто видим, как такие люди покидают свет, доставляющий им так много страдания, и ищут уединения. Но если такой человек должен, в силу сложившихся обстоятельств, жить среди общества и не может сохранить от наносимых им ударов свою болезненно-чувствительную натуру, то он испытывает гораздо больше горя, чем радости. Подобные организмы представляют собой прекрасную почву для мыслей о самоубийстве.

Это не единственная причина к тому, что жизнь неврастеника складывается для него так тяжело. В силу чрезвычайной чувствительности нервной системы мысли и чувства его находятся в полной неуравновешенности; каждое самое легкое впечатление находит в его душе ненормально сильный отзвук; его духовный мир ежеминутно потрясается до самых своих глубин, и под влиянием этих непрекращающихся внешних толчков ум его не может найти себе точки опоры и находится в непрерывном процессе преобразования. Но психика может укрепиться лишь в том случае, если пережитый опыт производит на нее прочное впечатление, а не рассеивается и не уничтожается постоянными резкими переворотами. Жизнь в устойчивой и постоянной среде возможна только в том случае, если отправления живого существа в такой же степени постоянны и устойчивы. Ибо жить – это значит реагировать на все внешние события, приспособиться к ним известным образом, а такая гармония отношений может быть только делом времени и привычки; достигнуть ее можно только ощупью через целый ряд поколений; она должна в известной своей части сделаться наследственной, и весь этот накопленный опыт не может быть повторен сызнова в любой момент, когда надо начинать действовать. Если бы, наоборот, все приходилось повторять каждый раз сначала, то эта гармония не могла бы быть полностью такой, какой она должна быть. Подобная устойчивость не только необходима нам для наших отношений с физическим миром, но также и с социальной средой. В обществе с вполне установившейся организацией существование индивида возможно только в том случае, если умственное и моральное строение его в равной степени определено. Именно этой устойчивости и недостает неврастенику. Благодаря тому состоянию неуравновешенности, в котором он находится, обстоятельства застают его зачастую врасплох; не будучи подготовлен к тому, чтобы реагировать на них надлежащим образом, он должен каждый раз заново измышлять для себя правила поведения; из этой необходимости рождается хорошо известное пристрастие неврастеника ко всему новому. Но когда встает вопрос о приспособлении к какому-нибудь традиционному условию, его импровизированным комбинациям приходится отступать перед теми, которые уже освящены многолетним опытом, потому что иначе он в огромном большинстве случаев потерпел бы неудачу.

Мы видим, таким образом, что, чем большей определенностью обладает известная социальная система, тем тяжелее в ней себя чувствует такой малоуравновешенный человек, как неврастеник. Вполне вероятно поэтому, что подобный психологический тип всего чаще встречается среди самоубийц. Остается только установить, какое влияние это чисто индивидуальное условие оказывает на общее количество добровольных смертей. Достаточно ли этого условия при благоприятных стечениях обстоятельств для того, чтобы натолкнуть человека на мысль о самоубийстве, или же неврастения оказывает еще какое-нибудь влияние, кроме того, что делает индивидов более восприимчивыми к действию внешних сил, которые только и могут быть определяющими причинами данного явления? Для того чтобы непосредственно решить этот вопрос, надо было бы сравнить колебания процента самоубийств и неврастении; к несчастью, последняя еще не вполне доступна для статистики, но с помощью одного искусственного приема мы можем преодолеть эту трудность. Сумасшествие является только усиленной фор-

мой нервного вырождения, и поэтому, не рискуя впасть в грубую ошибку, можно сказать, что число дегенератов изменяется так же, как и число сумасшедших, и поэтому вместо первых можно рассматривать вторых. Поступая так, мы будем еще иметь то преимущество, что можно будет вообще установить то соотношение, которое наблюдается между процентом самоубийств и общей суммой умственных аномалий всякого рода.

Один факт может сообщить им больше значения, чем следует; а именно самоубийство, равно как и сумасшествие, сильнее распространено в городе, чем в деревне. Поэтому начинает казаться, что случаи самоубийства учащаются и уменьшаются в зависимости от процента сумасшествий, и получается впечатление прямого соотношения между этими двумя явлениями. Но этот параллелизм не является показателем действительно существующей причинной связи; он может быть простым совпадением. Гипотеза эта тем более допустима, что социальные причины, от которых зависит самоубийство, как мы увидим далее, сами тесно связаны с городской цивилизацией и наиболее сильно дают себя чувствовать в больших центрах. Для того чтобы измерить то влияние, которое психопатическое состояние может оказывать на самоубийство, надо исключить те случаи, когда это состояние изменяется параллельно социальным условиям того же явления; когда эти два факта действуют в одном и том же направлении, в конечном результате трудно определить долю влияния, оказываемого каждым из них. Производить наблюдение над ними надо исключительно в тех случаях, когда они находятся в полном противодействии друг другу; только когда между ними образуется известный конфликт, можно установить, кому из двух принадлежит решающее значение. Если умственное расстройство играет ту существенную роль, которую ему иногда приписывают, то оно должно проявить свое присутствие характерным образом даже в том случае, когда социальные условия стремятся нейтрализовать его; и наоборот, эти условия не могли бы проявить себя, если бы индивидуальные силы действовали в обратном смысле. Следующие факты указывают на то, что правилом является совершенно обратная зависимость.

1. Путем статистических данных доказано, что в домах умалишенных число женщин незначительно превышает число мужчин; взаимоотношение варьирует в зависимости от данной страны, но обыкновенно на 54 или 55 умалишенных женщин приходится 46–45 мужчин.

Кох собрал результаты переписи умалишенных, сделанной в одиннадцати различных государствах. На 166 675 умалишенных обоего пола приходится 78 584 мужчины и 88 091 женщина, т. е. 1,18 мужчины и 1,30 женщины на 1000 жителей обоего пола. *Maye* в свою очередь пришел к аналогичным результатам. Правда, иногда спрашивали себя, не происходит ли этот излишек умалишенных женщин оттого, что смертность сумасшедших мужского пола больше смертности сумасшедших женского пола. Известно, что во Франции на 100 умерших сумасшедших приходится около 55 мужчин.

Итак, большее число случаев сумасшествий среди женщин, полученное при переписи в тот или иной момент, не является еще доказательством того, что женщина предрасположена к сумасшествию больше, чем мужчина; оно, быть может, указывает только на то, что и в этом случае, как во многих других, женщин умирает меньше, чем мужчин. Тем не менее остается несомненным тот факт, что среди наличного контингента сумасшедших женщин больше, чем мужчин; и если — что вполне законно — от числа умалишенных умозаключать к числу нервно расстроенных, то нельзя не признать, что всегда существует большее число неврастеников женского пола, чем мужского. Поэтому если бы между процентом самоубийств и неврастенией была действительно какая-нибудь причинная связь, то женщины должны были бы чаще, чем мужчины, лишать себя жизни или же по крайней мере одинаково часто. Даже принимая во внимание меньшую смертность среди женщин и исправляя в этом смысле указания переписи, все, что можно заключить отсюда, — это то, что у них почти одинаковое с мужчинами предрасположение к сумасшествию; в самом деле, меньший процент их смертности и численное преобладание их во всех переписях умалишенных почти компенсируются. Между тем в действи-

тельности склонность к добровольной смерти у женщин не только не выше, но гораздо ниже, чем у мужчин, и потому самоубийство по существу своему – чисто мужское явление. На одну лишаящую себя жизни женщину приходится в среднем 4 мужчины. У каждого пола есть своя вполне определенная склонность к самоубийству, которая есть величина постоянная для всех социальных классов. Но интенсивность этого предрасположения отнюдь не варьирует параллельно вариациям психопатического фактора независимо от того, исчисляются ли его влияние по количеству ежегодно вновь зарегистрированных случаев или по числу людей, записанных в данный момент.

Данные показывают, что сумасшествие наблюдается чаще у евреев, чем у людей других вероисповеданий; можно было бы на этом основании предполагать, что в тех же пропорциях находятся у них все другие ненормальности нервной системы; но оказывается, что, наоборот, предрасположение к самоубийству у евреев очень слабо. Мы увидим ниже, что еврейство – это как раз та религия, в рамках которой склонность к самоубийству имеет наименьшую величину (кн. I, гл. II). Следовательно, в данном случае процент самоубийств колеблется в обратном отношении к психопатическому состоянию и отнюдь не является его продуктом. Конечно, основываясь только на этом факте, нельзя вывести заключения, что мозговая и нервная болезнь могут служить предохранительным средством против самоубийства, но очевидно, эти болезни могут служить для него очень неточным определением, если процент самоубийства может упасть в тот момент, когда они достигают наивысшей степени своего развития.

Если сравнивать только католиков и протестантов, то эта обратная пропорциональность не будет носить общего характера, но все же она очень часто наблюдается. Предрасположение к сумасшествию у католиков оказывается ниже, чем у протестантов, только в 4 случаях из 12, и то разница между ними очень незначительна. Первые везде без всякого исключения лишают себя жизни реже, чем вторые.

2. Предрасположение к самоубийству правильно увеличивается начиная от детского возраста вплоть до глубокой старости. Если иногда оно понижается после 70 или 80 лет, то уменьшение это очень незначительно; в этот период жизни оно все-таки в два или в три раза сильнее, чем в период зрелости. Наоборот, в зрелом возрасте случаи сумасшествия встречаются наиболее часто. Максимальная опасность заболевания наблюдается около 30 лет, позднее она уменьшается, а к старости в большинстве случаев наблюдается в наиболее слабой степени. Такой антагонизм был бы необъясним, если бы причины, заставляющие колебаться процент самоубийств и вызывающие умственное расстройство, не были бы совершенно разнородного происхождения.

Если сравнить процент самоубийств в каждом возрасте не с относительной частотой новых случаев сумасшествия на протяжении того же самого периода, а с той пропорцией, которую по отношению ко всему населению образует наличный состав сумасшедших, то полное отсутствие параллелизма между этими двумя явлениями будет не менее очевидно. По отношению к общей массе населения число умалишенных особенно велико в возрасте 35 лет; пропорция остается той же вплоть до 60 лет и затем быстро уменьшается. Она достигает *minimuta* тогда, когда процент самоубийств достигает *maximuta*, нельзя установить никакого правильного соотношения между колебаниями того и другого явления.

3. Если сравнить различные общества с двоякой точки зрения – сумасшествия и самоубийства, то точно так же нельзя найти связи между колебаниями этих двух явлений. Правда, статистика умственного расстройства сделана недостаточно точно, для того, чтобы все эти сравнения между народами обладали бесспорной достоверностью, но тем не менее замечательно, что сведения, заимствуемые нами у двух различных авторов, дают явно согласные результаты.

Итак, в странах, где всего меньше умалишенных, всего больше самоубийств; это особенно заметно в Саксонии. К этому заключению уже раньше пришел доктор *Leroy* в своем

прекрасном труде по вопросу о самоубийстве в департаменте *Seine-et-Marne*. «Чаще всего, – говорит он, – в местности, где наблюдается значительный процент душевных болезней, встречается такой же процент самоубийств, но оба этих процента могут рассматриваться совершенно отдельно. Я даже склонен думать, что наряду с теми в достаточной мере счастливыми странами, где нет ни душевных болезней, ни самоубийств, есть такие, где существуют только душевные болезни. В других местностях можно наблюдать обратное исключение».

Правда, Морселли пришел к несколько другим результатам. Но это произошло потому, что он смешал под общим названием душевнобольных сумасшедших в собственном смысле этого слова и идиотов, тогда как это два совершенно различных вида болезни, особенно с точки зрения влияния, которое они могут иметь на самоубийство. Идиотизм не только не предрасполагает к самоубийству, но предохраняет от него; идиотов гораздо больше в деревне, чем в городе, тогда как случаи самоубийства там гораздо реже. Поэтому очень важно строго различать такие противоположные по своим последствиям состояния, когда ставишь себе целью определить, какое влияние оказывают различные невропатические потрясения на процент добровольных смертей. Но даже если смешать их воедино, то невозможно создать никакого правильного параллелизма между распространенностью душевной болезни и самоубийством. Если даже, считая бесспорными цифры, данные Морселли, классифицировать главнейшие страны Европы в пять последовательных групп, согласно числу находящихся в них душевнобольных (занося под одну рубрику и сумасшедших, и идиотов), и если заняться потом вопросом, как велико в каждой из этих групп среднее число самоубийств, то получится следующая таблица:

	Число сумасшедших на 100 000 жителей	Число самоубийц на 1 000 000 жителей
1-я (3 группа страны)	340–280	157
2-я »	261–245	195
3-я »	185–164	65
4-я »	150–116	91
5-я »	110–100	68

Можно сказать вообще, что там, где много сумасшедших и идиотов, там много и самоубийств, и наоборот. Но между этими двумя скалами нет точного соответствия, доказывающего наличность определенной причинной связи между этими двумя явлениями. Во второй группе должно было бы быть меньше самоубийств, чем в первой, а на самом деле в ней самоубийств больше; в пятой группе с этой же точки зрения самоубийств должно было бы быть меньше всего, а в ней их больше, чем в четвертой и даже в третьей. Если статистику душевных болезней Морселли заменить более полной статистикой Коха, к тому же и более строгой, то отсутствие параллелизма будет еще более очевидным.

	Сумасшедшие и идиоты на 100 000 жителей	Среднее число самоубийств на 1 000 000 жителей
1-я группа (3 страны)	422–305	76
2-я »	305–291	123
3-я »	268–244	130
4-я »	223–218	227
5-я »	216–146	77

4. Наконец, так как считается, что за последнее столетие процент сумасшествий и самоубийств регулярно увеличивается, то вполне понятно искушение видеть в этом доказательство их взаимной обусловленности. Но это предположение лишается всякой силы и убедительности, если мы примем во внимание, что в обществах низшего порядка, где очень редко наблюдается сумасшествие, самоубийство, наоборот, очень частое явление, как мы это увидим впослед-

ствии (кн. II, гл. IV). Социальный процент самоубийств не имеет никакой определенной связи ни с предрасположением к сумасшествию, ни – поскольку об этом свидетельствуют индуктивные данные – с предрасположением к различным видам неврастения. Если неврастения, как мы уже указали выше, может предрасполагать к самоубийству, то она может и не иметь такого последствия.

Конечно, неврастеник почти неизбежно обречен на страдание, если он слишком близко соприкасается с окружающей его жизнью, но он имеет возможность удалиться от нее, для того чтобы вести исключительно созерцательное существование. Если всевозможные конфликты и человеческие страсти слишком шумны и грубы для его хрупкого организма, то в противовес этому неврастеник как бы специально создан для того, чтобы вкушать тихие радости умственной жизни. Его мускульная дряблость и чрезмерная чувствительность делают его не способным к активному образу жизни и как бы приготавливают его к умственной работе, которая в свою очередь требует приспособленных для этого органов. Если неподвижная социальная среда только разбивает его природные инстинкты, то, поскольку само общество подвижно и может существовать только при условии прогресса, постольку он может играть полезную роль, так как неврастеник составляет *par excellence* орудие прогресса.

Именно потому, что он не склоняет головы перед традицией и ярмом привычки, он представляет собой чрезвычайно плодотворный источник всего нового. Но так как в самых культурных обществах интеллектуальные функции более всего развиты и более всего необходимы и так как в то же время, в силу чрезвычайной сложности этих обществ, неперенным условием их существования является непрерывное изменение, то в тот самый момент, когда число неврастеников становится особенно значительным, существование их получает свое практическое оправдание. Они не относятся к числу людей, по существу своему внесоциальных, которые устраняют самих себя, потому что не могут жить в той среде, к которой они прикреплены. Нужно, чтобы еще целый ряд других причин присоединился к свойственному им органическому состоянию, чтобы характер их принял такое направление и развился именно в этом смысле. Сама по себе неврастения есть предрасположение очень общего характера, не влекущее за собой никаких определенных поступков, но по ходу обстоятельств она может принимать самые разнообразные формы. Неврастения – это почва, на которой могут зародиться самые различные наклонности в зависимости от того, как оплодотворят ее социальные условия. У старого, уже сбитого с пути народа, на почве неврастения легко пустят корни отвращение к жизни, инертность и меланхолия со всеми печальными, свойственными им последствиями. Наоборот, в молодом еще обществе на этой почве по преимуществу разовьются пылкий идеализм, великодушный прозелитизм, деятельная самоотверженность. Если во времена всеобщего упадка мы видим увеличение числа неврастеников, то мы не должны забывать, что их же руками создаются новые государства; именно из среды неврастеников появляются все великие преобразователи. При такой двойственной роли неврастения не может объяснить столь определенного социального факта, как тот или иной процент самоубийств².

Существует одно психопатическое состояние, которое за последнее время вошло в привычку обвинять почти во всех несчастьях нашего цивилизованного общества. Это – алкоголизм. Справедливо или нет, но его влиянию приписывают прогрессивное развитие сума-

² Очень ярким примером этой двойственности являются сходство и контраст, наблюдаемые между французской и русской литературой. Та симпатия, которой во Франции пользуется русская литература, уже доказывает, что в ней очень много общих черт с французской. На самом деле, у писателей обеих наций чувствуется болезненная утонченность нервной системы, известное отсутствие умственного и морального равновесия. Но это общее психофизиологическое состояние производит совершенно различные социальные последствия. Тогда как русская литература чрезмерно идеалистична, тогда как свойственная ей меланхоличность основана на деятельном сочувствии к страданиям человечества и является здоровой тоской, возбуждающей веру и призывающей к деятельности, тоска французской литературы выражает только чувство глубочайшего отчаяния и отражает беспокойное состояние упадка. Вот каким образом одно и то же органическое состояние может служить почти противоположным социальным целям.

существования, пауперизма и преступности. Имеет или нет алкоголизм какое-нибудь влияние на развитие самоубийства? *A priori* подобная гипотеза кажется маловероятной, потому что именно в наиболее культурных и зажиточных классах самоубийство вырывает больше жертв, тогда как далеко не в их среде алкоголизм имеет наибольшее распространение.

Рассмотрим факты – и пусть они говорят сами за себя. Если сравнить французскую карту самоубийств с картой преследований за злоупотребление спиртными напитками, то мы увидим, что между ними нет почти никакого соответствия. Для первой из них характерной чертой является то обстоятельство, что самоубийства в особенности сосредоточены в двух центрах Франции. Один расположен в *Ile de France* и простирается отсюда на восток, а другой занимает побережье Средиземного моря от Марселя до Ниццы. Совершенно другое распределение темных и светлых пятен мы видим на картах алкоголизма. Здесь существуют три главных центра. Один – в Нормандии, а в особенности в департаменте Нижней Сены; другой – в Финистере и вообще в бретонских департаментах; третий занимает бассейн Роны и соседнюю с ним область. Наоборот, процент самоубийств в местности, лежащей по течению Роны, не поднимается выше среднего; в большинстве нормандских департаментов он ниже среднего, и в Бретани самоубийство почти совершенно отсутствует. Таким образом, географии этих двух явлений настолько различны, что совершенно невозможно приписывать одному из них влияние на развитие другого. Мы придем к тому же результату, если начнем сравнивать самоубийство не с проступками на почве пьянства, а с нервными или душевными болезнями, порожденными алкоголизмом. Сгруппировав французские департаменты в 8 классов по степени значительности в них контингента самоубийц, мы старались найти в каждом из них среднее число случаев сумасшествия алкоголического происхождения, основываясь на цифровых данных доктора *Lunier*, и получили следующие результаты:

	Число 100 000 жителей самоубийств на (1872–1876 гг.)	Сумасшедших на почве алкоголизма на 100 душевнобольных (1867–1869 и 1874–1876 гг.)
1-я группа (5 деп.)	ниже 50	11,45
2-я » (18 »)	от 51–75	12,07
3-я » (15 »)	76–100	11,92
4-я » (20 »)	101–150	13,42
5-я » (10 »)	151–200	14,57
6-я » (9 »)	201–250	13,26
7-я » (4 »)	251–300	16,32
8-я » (5 »)	Свыше этого	13,47

Два вышеприведенных столбца совершенно не соответствуют друг другу. Тогда как число самоубийств ушестеряется и поднимается даже выше, пропорция сумасшествия на почве алкоголизма увеличивается едва на несколько единиц, и то увеличение происходит нерегулярно; вторая группа возвышается над третьей, пятая над шестой, седьмая над восьмой. Между тем если бы алкоголизм влиял на процент самоубийств, как психопатическое состояние, то это влияние могло бы выражаться только умственным расстройством.

На первый взгляд кажется, что между количеством потребленного алкоголя и склонностью к самоубийству – более тесное соотношение, по крайней мере насколько это касается Франции. В самом деле, больше всего потребляют алкоголя в северных департаментах, и в этих же местностях всего чаще встречаются самоубийства. Но во-первых, пятна, обозначающие эти явления, имеют на обеих картах несколько различную конфигурацию. Одно из них наиболее густо в Нормандии и на севере Франции, бледнея по мере приближения к Парижу: это пятно обозначает алкоголизм. Другое пятно, наоборот, всего темнее около Сены и в соседних с нею департаментах; оно светлеет уже близ Нормандии и не достигает севера. Первое темнеет по направлению к западу и простирается до побережья океана; второе, наоборот, быстро исчезает, приближаясь к западу, как бы остановленное границей, которую для него представляют

департаменты *J'Eure* и *J'Eu-re-et-Lour*, затем оно значительно усиливается по направлению к востоку. Мало того, темное пятно, имеющееся на юге в департаменте *Var* и *Benches de Rhone* на карте самоубийств, совершенно исчезает на карте алкоголизма.

Наконец, даже в той мере, поскольку существует совпадение, оно недостаточно убедительно, так как оно в большинстве случаев совершенно случайно. Выйдя из пределов Франции и подвигаясь на север, мы видим почти правильное увеличение потребляемого алкоголя без всякого возрастания самоубийств. Тогда как во Франции в 1873 г. на одного человека в среднем приходилось 2,84 литра алкоголя, в Бельгии количество алкоголя достигало в 1870 г. 8,56 литра, в Англии мы находим в 1870–1874 гг. 9,07 литра, в Голландии (1870 г.) – 4, в Швеции (1870 г.) – 10,34, в России (1856 г.) – 10,69 и даже в Петербурге (1855 г.) – до 20 литров. И в то же время, когда в соответствующие эпохи во Франции насчитывалось 150 случаев самоубийства на 1 000 000 жителей, в Бельгии их было только 68, в Великобритании – 70, в Швеции – 85, а в России очень немного. Даже в Петербурге от 1864–1868 гг. средний годовой процент не превышал 68,8. Дания – единственное северное государство, где большое количество самоубийств и потребление алкоголя совпадают (16,51 литра в 1845 г.). Если северные департаменты Франции отличаются тем, что совмещают пристрастие к спиртным напиткам с склонностью к самоубийству, то из этого не надо заключать, что второе явление вытекает из первого и находит в нем себе объяснение; совпадение это носит чисто случайный характер. На севере вообще потребляют алкоголя значительно больше, потому что вина там мало и оно гораздо дороже; кроме того, может быть, здесь более, чем в другом месте, нужно специальное питание, для того чтобы поддерживать необходимую для организма теплоту; с другой стороны, видно, что причины самоубийства особенно сконцентрировались в этой части Франции. Сравнение различных частей Германии подтверждает это заключение.

Если перейти к деталям, то обнаружатся поразительные контрасты; в провинции Познань меньше, чем где-либо в империи, наблюдаются самоубийства (96,4 случая на 1 000 000), а здесь всего более употребление алкоголя – 13 литров на человека; в Саксонии, где оно в 4 раза больше (348 на 1 000 000), алкоголя употребляют в 2 раза меньше; наконец, можно заметить, что четвертая группа, где потребление алкоголя очень незначительно, почти всецело состоит из южных государств. С другой стороны, если здесь меньше случаев самоубийства, чем в остальной Германии, то это зависит от того, что население в ней католическое или содержит в себе очень сильное католическое меньшинство.

Следовательно, не существует ни одного психопатического состояния, которое бы имело с самоубийством постоянную и бесспорную связь. В данном обществе число самоубийств не зависит от числа находящихся в нем неврастеников и алкоголиков. Хотя дегенерация в различных своих формах образует вполне подходящую психологическую почву для развития тех причин, которые могут заставить человека решиться на самоубийство, но сама она не является одной из причин его. Можно допустить, что при идентичных обстоятельствах дегенерат лишает себя жизни легче, чем здоровый человек, но он лишает себя жизни не только в силу своего органического состояния. Потенциальная склонность к самоубийству может преобразиться у него в действие только под влиянием иных факторов, разысканием которых нам и предстоит теперь заняться.

Глава II

Самоубийство и нормальные психические состояния. Раса. Наследственность

Можно предположить, что склонность к самоубийству заложена в самом строении индивида независимо от различных аномальных его состояний, о которых мы говорили выше. Она может заключаться в чисто психических явлениях, не будучи связана непременно с расстройством нервной системы. Почему у человека не может явиться желания лишить себя жизни без того, чтобы оно представляло собой мономанию, умственное расстройство или неврастение? Это предположение может даже считаться вполне установленным, если, как это было показано многими учеными, специально изучавшими вопрос о самоубийстве, каждой расе свойствен особый процент самоубийств. Расы отличаются друг от друга и определяются только органическо-психическими признаками. Если процент самоубийств изменяется в зависимости от расы, то приходится признать, что существует известное органическое предрасположение, с которым он тесно связан. Но действительно ли существует эта связь?

I

В чем заключается понятие расы? Совершенно необходимо дать ей точное определение, потому что не только обыденная терминология, но и сами антропологи употребляют это слово в самом разнообразном смысле. Тем не менее различные предположенные формулы можно обыкновенно свести к двум основным понятиям: раса характеризуется по сходству или по общему происхождению. Каждая школа кладет в основание первое или второе определение.

Иногда под расой подразумевается агрегат индивидов, которые имеют, без сомнения, общие черты, но которые, сверх того, обязаны этим сходством признаков тому, что происходят от одного источника. Когда под влиянием какой-либо причины у одного или нескольких индивидов одного и того же поколения появляется изменение, отличающее их от всего остального вида, и когда это изменение, вместо того чтобы исчезнуть со следующим поколением, прогрессирует в силу наследственности, то это обстоятельство дает начало расе. В этом смысле *de Quatrefages* и мог определить понятие расы как собрание подобных друг другу индивидов, принадлежащих к одному и тому же виду и передающих путем полового преемства все особенности первоначального изменения. Согласно такому определению, раса отличалась бы от вида тем, что начальные пары, от которых произошли различные расы одного и того же вида, в свою очередь произошли от одной только пары. Подобное понятие расы было бы строго ограничено, и она определялась бы путем специального, положившего ей начало признака общего происхождения.

К несчастью, если придерживаться этой формулы, то существование и сфера влияния расы не могут быть установлены без помощи исторических и этнографических изысканий, результаты которых всегда сомнительны, и потому на все вопросы относительно происхождения ее приходится отвечать крайне гадательно. К тому же не вполне достоверно, что существующие в настоящий момент человеческие расы соответствуют вышеприведенному определению, так как вследствие различных скрещиваний по всевозможным направлениям каждое из существующих подразделений нашего вида происходит от самых различных первоначальных источников. Если мы не имеем другого критерия, то будет очень трудно определить, какое отношение различные расы имеют к самоубийству, так как нельзя сказать с достоверностью, где они начинаются и где кончаются. К тому же концепция *de Quatrefages* грешит тем, что предпринимает проблему, на которую наука далеко еще не нашла своего ответа. Эта концепция предпола-

гает, что характеристические свойства расы образовались путем эволюции, что они укрепились в организме только под влиянием наследственности. Это мнение оспаривается целой антропологической школой, носящей название полигенистической. Согласно мнению этой школы, человечество не происходит целиком из одной-единственной семьи, как учит библейская традиция, но появилось или одновременно, или постепенно в различных местах земного шара. Так как первоначальные роды образовались независимо один от другого и в различной среде, то они были дифференцированы с самого начала, и поэтому каждый из них являлся особой расой. Следовательно, главнейшие расы образовались не путем прогрессирующего укрепления приобретенных изменений, но создались с самого начала и сразу. Поскольку решение этого важного вопроса остается открытым, будет неправильно с методологической точки зрения вводить в определение расы идею общего происхождения или родства.

Гораздо лучше определять ее по непосредственным признакам, которые доступны всякому наблюдателю, и не затрагивать пока вопроса о ее происхождении. В таком случае остается только два характерных признака, выделяющих расу. Прежде всего раса состоит из группы индивидов, характеризующихся своим сходством; но то же самое применимо к людям одной веры или одной профессии. Поэтому, чтобы довершить характеристику расы, необходимо прибавить, что сходство это наследственно. Таким путем образуется особый тип, который независимо от своего первоначального происхождения обыкновенно передается по наследству. В этом смысле должно понимать слова *Pricharda*, который говорит: «Под именем расы подразумевается каждая группа индивидов, имеющих более или менее общие признаки, передаваемые по наследству; вопрос же о происхождении этих признаков в данный момент лучше оставить в стороне». *Вгоса* высказывается по этому вопросу почти в тех же выражениях. «Что же касается до разновидностей, существующих в человеческом роде, – говорит он, – то они получили название рас, что дает повод думать о более или менее прямом родстве индивидов одной и той же разновидности, но не решает ни в утвердительном, ни в отрицательном смысле вопроса о родстве между индивидами разных разновидностей».

Поставленная в этой форме проблема о возникновении рас становится разрешимой, но самое слово берется здесь в настолько широком смысле, что делается совершенно неопределенным; оно обозначает уже не только наиболее общие разветвления человеческого вида, естественные и относительно неизменные подразделения человечества, но типы всякого рода. С этой точки зрения каждая группа народов, члены которой в силу тесных отношений, соединявших их на протяжении веков, являют частью уже наследственное сходство, могла бы составлять расу. В этом смысле говорят иногда о латинской, англосаксонской расе и т. д. Можно даже сказать, что только в такой форме расы могут быть рассматриваемы как живые и конкретные факторы исторического развития. В общей смеси народов, в горниле истории, великие, основные и первоначальные расы настолько смешались между собою, что почти совершенно потеряли свою индивидуальность: «Если они не исчезли совершенно с лица земли, то от них остались только очень смутные очертания, отдельные штрихи, которые соединяются между собою в настолько несовершенной форме, что уже не образуют больше никакой характерной физиономии. Тип человека, который устанавливается лишь путем некоторых, часто неопределенных указаний на величину его роста и форму его черепа, не имеет ни достаточной достоверности, ни определенности, для того чтобы ему можно было приписывать большое влияние на ход социальных явлений. Более специальные и менее обширные типы, называемые расой в широком смысле этого слова, более рельефны и неизбежно играют более важную историческую роль, потому что они в большей степени могут считаться продуктом истории, чем природы. Но им не хватает объективного определения. Например, мы очень плохо знаем, какими определенными чертами латинская раса отличается от саксонской; каждый высказывает по этому поводу свое мнение без всякого научного основания.

Эти предварительные соображения предупреждают нас, что социолог должен быть очень осторожен, принимаясь за решение вопроса о том, какое влияние имеет раса на то или иное социальное явление. Для того чтобы решить такую проблему, надо в точности знать, какие существуют расы и чем они отличаются одна от другой. Такая осторожность тем более необходима, что этот пробел антропологии находится в прямой зависимости от того, что самое слово «раса» не заключает в себе ничего определенного. С одной стороны, первоначальные расы представляют теперь только палеонтологический интерес, а с другой – более тесные группировки индивидов, носящие в настоящее время это название, являются, собственно, народами или союзами народов, более братьями и по цивилизации, чем по крови. Раса, понимаемая таким образом, почти совершенно смешивается с нацией.

II

Допустим, однако, что в Европе существует несколько основных типов, наиболее общие признаки которых нам в главных чертах известны и между которыми распределяются разные народности. Условимся называть их расами.

Морселли различает четыре расы: *германский тип*, разновидностями которого он считает немцев, скандинавов, англосаксов, фламандцев; *тип кельт-романский* (бельгийцы, французы, итальянцы, испанцы); *типы славянский и урало-алтайский*. Мы упоминаем последний только для памяти, так как он насчитывает в Европе слишком мало представителей для того, чтобы можно было определить, какое отношение он имеет к самоубийству; к нему можно отнести только венгерцев, финляндцев и жителей некоторых русских областей. Остальные три расы классифицируются следующим образом в зависимости от понижения их склонности к самоубийству: вначале стоят народы германской расы, потом кельто-романской и, наконец, славяне.

Но можно ли действительно эти различия отнести на счет расы?

Гипотеза эта была бы правдоподобна, если бы каждая группа народов, объединенных под одним общим названием, имела приблизительно одинаковую склонность к самоубийству. Но в действительности между народами одной и той же расы наблюдается в этом смысле большое различие. Тогда как у славян вообще слабая степень склонности к самоубийству, Моравия и Богемия среди них составляют исключение. В первой насчитывается 158 случаев на миллион жителей, во второй – 136, тогда как в Крайне всего 46, в Кroatии – 30 и в Далмации – 14. То же самое мы видим у народов кельто-романской расы. Франция отличается высоким процентом – 150 на 1 000 000 жителей, в то время как в Италии мы находим только 30 случаев, а в Испании – еще меньше. Очень трудно согласиться с Морселли в том отношении, что такое сильное колебание процента может объясняться большим количеством германских элементов во Франции, чем в других латинских странах. Если принять во внимание, что страны, выделяющиеся в смысле высокого процента самоубийств среди родственных им национальностей, в то же время и наиболее цивилизованные, то является вполне законным задать себе вопрос: не различный ли уровень цивилизации является тем моментом, который в действительности определяет собой разницу между обществами и так называемыми этническими группами? Разница в склонности к самоубийству у германских народов еще более велика. Из четырех принадлежащих к этой расе групп в трех склонность еще слабее, чем у славянских и латинских народов. Это фламандцы, у которых на 1 000 000 насчитывается только 50 случаев самоубийства, англосаксы, у которых самоубийц только 70 на 1 000 000; что же касается скандинавов, и в частности Дании, то в ней насчитывается высокое число – 268 самоубийств, но в Норвегии их только 74 и в Швеции – 84. Поэтому невозможно приписывать датский процент самоубийств всей расе, если в двух других странах, где эта раса существует в наиболее чистом виде, мы имеем противоположные результаты. В общем, из всех германских народов только немцы очень сильно предрасположены к самоубийству. Поэтому если мы будем употреблять термины

в их строгом смысле, то в данном случае может идти речь не о расе, а о национальности. Тем не менее, поскольку не доказано отсутствие немецкого типа, который был бы отчасти наследственным, можно распространить понятие этого слова до самых крайних пределов и сказать, что у народов немецкой расы предрасположение к самоубийству развито больше, чем у большинства людей, принадлежащих к кельто-романскому, славянскому и даже англосаксонскому и скандинавскому обществам. Но это все, что можно вывести из предыдущих цифровых данных. Как бы то ни было, мы имеем здесь единственный случай, когда можно действительно подозревать влияние этнических условий. Далее мы увидим, что раса на самом деле в этом случае не играет никакой роли.

Для того чтобы иметь право объяснять расовой причиной склонность немцев к самоубийству, недостаточно одного констатирования того факта, что самоубийство распространено в Германии, так как эта распространенность может быть отнесена на счет природы немецкой цивилизации. Но надо было бы доказать, что эта наклонность неразрывно связана с наследственным состоянием немецкого организма, что это перманентная черта немецкого типа, остающаяся даже и в изменившейся социальной среде. Только при этом условии мы можем видеть в склонности к самоубийству результат влияния расы. Посмотрим теперь, что происходит вне Германии в том случае, если немец входит в жизнь других народов или приобщается к различным культурам; сохраняет ли он свое печальное первенство в наклонности к самоубийству. В Австрии мы имеем готовый ответ на этот вопрос. Немцы, смотря по провинциям, смешались в различных пропорциях с населением, обладающим совсем иными этническими качествами. Посмотрим, увеличилось ли присутствие немцев процент самоубийств в Австрии. Для каждой провинции существует как средний процент самоубийств на протяжении пятилетия (1872–1877 гг.), так и численное значение немецкого элемента. По характеру употребляемого в каждой данной местности наречия мы определяем долю участия той или иной расы; хотя этот критерий не обладает абсолютной точностью, но он наиболее достоверен из всех существующих.

По данным, заимствуемым нами у самого Морселли, невозможно заметить ни малейших следов немецкого влияния на процент самоубийств. Богемия, Моравия и Буковина, где немцев насчитывается от 37 до 9 %, имеют в среднем 140 случаев самоубийства – выше Штирии, Каринтии и Силезии (125), где немцы составляют значительное большинство. Точно так же эти последние страны, несмотря на значительное меньшинство славян, превышают своей наклонностью к самоубийству три единственные провинции, где население всецело немецкое: это Верхняя Австрия, Зальцбург и трансальпийский Тироль. Правда, в Нижней Австрии насчитывается число самоубийств больше, чем в других областях, но это превышение не может быть отнесено на счет немецкого элемента, так как число немцев значительно больше в Верхней Австрии, Зальцбурге и трансальпийском Тироле, где количество самоубийств в два, даже в три раза меньше.

Настоящая причина этой высокой цифры самоубийств состоит в том, что главным городом Нижней Австрии является Вена, которая, как и все столицы, насчитывает ежегодно огромное число самоубийств; в 1876 г. там на миллион жителей приходится 320 случаев; поэтому не надо относить на счет расы то, что присуще вообще большим городам. Наоборот, если на побережье, в Крайне и Далмации, самоубийств значительно меньше, то это вовсе не зависит от присутствия в них меньшего количества немцев, так как в цизальпийском Тироле и Галиции, где немцев не больше, в два и в пять раз больше случаев добровольной смерти. Если сосчитать средний процент самоубийств для всех восьми австрийских провинций с немецким меньшинством, то получится цифра 86, т. е. то же количество, что в трансальпийском Тироле, где население чисто немецкое, и больше, чем в Каринтии и Штирии, где немцев очень много. Итак, когда немцы и славяне живут в одной и той же социальной среде, и их наклонность к самоубийству оказывается одинаково сильной. Следовательно, разница, наблюдаемая между ними при других обстоятельствах, не зависит от расы.

То же самое можно сказать об отмеченной нами разнице между немецкой и латинской расами. В Швейцарии мы имеем в наличности обе эти расы; пятнадцать швейцарских кантонов целиком или частью – немецкие; среднее число самоубийств в них достигло в 1876 г. цифры 186; 5 кантонов по преимуществу французские: Валлис, Фрибург, Невшатель, Женева. В них среднее число самоубийств 255. Из них всего меньше в кантоне Валлис – 10 самоубийств на 1 миллион жителей, но в нем в то же время насчитывается всего больше немцев: 319 на тысячу жителей. Наоборот, Невшатель, Женева и Во, где население почти целиком латинское, имеют 486, 321 и 371 случаев самоубийства.

Для того чтобы дать этническому элементу лучше проявить свое влияние, если только оно вообще существует, мы старались отделить религиозный фактор, который мог бы его замаскировать. Для этого мы сравнили немецкие и французские кантоны с одним и тем же вероисповеданием. Полученные результаты явились только подтверждением предыдущих.

Швейцарские кантоны

Католики немцы	87 случ. самоубийств
» французы	83 *
Протестанты немцы	293 *
* французы	456 *

С одной стороны, нет существенного различия между двумя расами, с другой – французы имеют перевес. Факты согласно указывают на то, что если немцы чаще других народов лишают себя жизни, то это зависит не от крови, которая течет в их жилах, а от цивилизации, в кругу которой они воспитаны. Тем не менее среди доказательств, приводимых Морселли для подкрепления влияния расы, есть одно, которое на первый взгляд может показаться более убедительным. Французский народ образовался от смешения двух главных рас: кельтов и кимвров, которые с самого начала отличались друг от друга своим ростом. Со времен Юлия Цезаря кимвры были известны своим высоким станом. Брока именно по росту жителей мог определить, каким образом эти две расы распределились на поверхности французской территории, и нашел, что население кельтского происхождения сосредоточилось преимущественно на юге по течению Луары, а кимвры – на севере. Эта этнографическая картина имеет некоторое сходство с картиной самоубийств; ведь мы знаем, что самоубийства сконцентрировались на севере Франции и, наоборот, в минимальной степени наблюдаются в центре и на юге. Но Морселли пошел еще дальше; он считал установленным, что число самоубийств у французов правильно колеблется в зависимости от распределения этнических элементов; чтобы иллюстрировать это свое положение, он разделил департаменты Франции на 6 групп, высчитал для каждой из них среднее число самоубийств, а также среднее число избавленных от военной службы в силу недостаточно высокого роста, что является косвенным мерилем среднего роста населения, ибо эта средняя повышается по мере того, как уменьшается число увольняемых. Оказывается, что эти два ряда средних чисел изменяются обратно пропорционально: чем больше число самоубийств, тем меньше уволенных за недостаточно высокий рост, т. е. тем больше средняя высота роста.

Такое точное соответствие, если бы оно действительно было установлено, можно было бы объяснить, конечно, только влиянием расы. Но тот способ, которым пришел Морселли к этому результату, не позволяет считать последний прочно установленным. В самом деле, он взял за основу шесть этнических групп, классифицированных Брока по степеням предполагаемой чистоты двух рас – кельтской и кимврской. Как бы высоко мы ни ставили авторитет этого ученого, мы должны все же признать, что данный этнографический вопрос слишком сложен, оставляет еще слишком много места различным толкованиям и противоположным гипотезам, для того чтобы классификацию, предложенную Брока, можно было рассматривать как безупречную. Стоит только обратить внимание на то, какое значительное количество более

или менее недоказуемых исторических догадок он должен выдвинуть, чтобы обосновать свою теорию. И если его исследования с полной очевидностью показали, что во Франции имеются два отчетливо различающихся друг от друга антропологических типа, то существование тех промежуточных, воплощающих в себе различные оттенки типов, которые он также счел возможным признать, представляется гораздо более сомнительным³.

Если, оставив в стороне эту систематическую, но, может быть, слишком искусственную классификацию, довольствоваться тем, что сгруппировать департаменты согласно среднему росту, наблюдаемому в каждом из них, т. е. по среднему числу освобожденных малорослых новобранцев, и если против каждого из этих средних чисел поставить среднее число самоубийств, то получатся результаты, сильно отличающиеся от цифровых данных Морселли.

Процент самоубийств увеличивается неравномерно, вне всякой прямой зависимости от предполагаемых кимврских элементов, так как первая группа, где население обладает наиболее высоким ростом, насчитывает менее самоубийств, чем вторая, и незначительно больше, чем третья; точно так же три последние стоят почти на одном уровне, несмотря на различную высоту роста. Если что-нибудь вытекает из этих цифровых данных, то только то, что с точки зрения самоубийств, как и с точки зрения высоты роста, Францию можно разделить на две части – северную, где самоубийства случаются часто и рост высокий, и центральную, где рост ниже и где меньше лишают себя жизни, но без всякого точного параллелизма между этими явлениями. Выражаясь иначе, две областные массы населения, замеченные нами на этнографической карте, встречаются и на карте самоубийств; но совпадение это только приблизительно и совершенно не носит общего характера. В деталях изменений этих двух сравниваемых явлений совпадения не наблюдаются.

Сведенное к своим настоящим размерам, рассматриваемое совпадение уже не является решительным доказательством в пользу этнических элементов; оно представляет только любопытный факт, которого еще недостаточно для того, чтобы установить общий закон. Оно может зависеть от случайного сочетания вполне независимых друг от друга факторов. Во всяком случае, для того чтобы это совпадение можно было приписывать действию расы, эта гипотеза должна быть подкреплена и доказана еще и другими фактами. Мы видим между тем нечто совершенно обратное; нижеследующие факты только опровергают эту гипотезу.

1. Более чем странно, что такой коллективный и бесспорный в своей реальности тип, как немецкий, имеющий такое сильное предрасположение к самоубийству, перестает проявлять его тотчас же по изменении социальных условий; или что наполовину проблематический кельтский, или древнебельгийский тип, от которого остались лишь одни бледные следы, имеет и по настоящее время сильное влияние на величину этой наклонности. Слишком велика раз-

³ Существование двух областных делений, из которых одно состоит из 15 северных департаментов, где преобладает население с высоким ростом (39 забракovaných на 1000 новобранцев), другое же – из 24 департаментов центра и запада, где преобладает маленький рост (от 98 до 130 случаев освобождения от службы на 1000), кажется бесспорным. Но разве эта разница есть продукт расы? Решить такой вопрос не так-то легко. Если припомнить, что в течение 30 лет средняя высота роста населения во Франции значительно изменилась, что число забракovaných поэтому с 92,80 в 1831 г. понизилось в 1860 г. до 59,40 на 1000, то с полным правом можно спросить себя, может ли такой переменчивый признак быть верным критерием для того, чтобы узнать, существуют ли относительно неизменные типы, называемые расой? Но во всяком случае, тот способ, при помощи которого у Брока группы, промежуточные между этими двумя крайними типами, установлены, поименованы и отнесены к кимврскому или другому источнику, дает нам еще больше права сомневаться. Доводы морфологического порядка здесь неприменимы. Антропология может установить, какова средняя высота роста в данной области, но не может определить, от каких скрещиваний она зависит. Поэтому промежуточные высоты могут зависеть как от того, что кельты смешались с более крупными расами, так и от того, что кимвры смешались с людьми меньшего роста, чем они сами. Географическое распределение не может тоже играть большой роли, потому что смешанные группы понемногу встречаются повсюду: на северо-западе (Нормандия, Нижняя Луара), на юго-западе (Аквитания), на юге (Романская провинция), на востоке (Лотарингия) и так далее. Остаются аргументы чисто исторического характера, но они по природе своей очень гадательны. История не знает, когда, при каких условиях и в каких пропорциях произошли различные нашествия и помеси народов. Каким же образом может она помочь нам определить степень влияния, которое имеют эти события на органическое строение народов?

ница между крайней общностью расовых признаков, оставивших после себя память в недрах данной расы, и сложной специфичностью изучаемой нами наклонности.

2. Мы увидим ниже, что случаи самоубийства были очень многочисленны у древних кельтов (см.: кн. II, гл. IV). Поэтому если в данный момент они стали реже у народа, как предполагают, кельтского происхождения, то это происходит не в силу природного свойства расы, а по причине изменившихся внешних обстоятельств.

3. Кельты и кимвры не являются первоначальными и чистыми расами; они, как говорит Брока, смешались с другими народами «посредством кровных связей, языка и верований». И те, и другие являются только разновидностью той расы белокурых, высоких людей, которые или путем массового нашествия, или путем повторных набегов рассеялись мало-помалу по всей Европе. Вся разница между ними с точки зрения этнографической заключается в том, что кельты, смешавшись с темно-русским и малорослым южным населением, более отклонились от общего типа. Следовательно, если большая склонность кимвров к самоубийству этнического происхождения, то она вытекает из того обстоятельства, что у них первоначальная раса претерпела меньше изменений. Но тогда следовало бы ожидать, что вне Франции процент самоубийств будет увеличиваться по мере того, как будут резче выступать отличительные признаки этой расы. Но ничего подобного нет на самом деле. Наиболее высоким ростом в Европе обладает население Норвегии (1,72 метра); родина этого типа, всего вероятнее, север, в частности же побережье Балтийского моря: именно в этих местах он считается лучше всего сохранившимся. И тем не менее на Скандинавском полуострове процент самоубийств невысок; говорят, что та же самая раса лучше сохранилась в Голландии, Бельгии и Англии, чем во Франции, и тем не менее в этой последней стране гораздо больше случаев самоубийства, чем в трех первых.

В конце концов географическое распределение самоубийств во Франции может быть объяснено, не прибегая к таинственной силе расы. Известно, что Франция может быть разделена в интеллектуальном и этнографическом отношении на две части, еще не вполне слившиеся между собой. Население центра и юга сохранило свой природный характер, свойственный ему образ жизни и потому остается чуждым идеям и нравам северян. Но на севере возник очаг французской цивилизации, которая и до сих пор по существу своему остается северной. С другой стороны, так как она содержит в себе важнейшие причины, толкающие население Франции, как мы увидим ниже, к самоубийству, то географические границы сферы ее влияния суть также и границы зоны, наиболее обильной самоубийствами. Поэтому если население севера лишает себя жизни чаще, чем население юга, то это происходит вовсе не в силу его предрасположения на почве этнического темперамента; это происходит потому, что социальные причины самоубийства сконцентрировались сильнее на севере по течению Луары, чем на юге.

Что же касается вопроса о том, как произошел и каким образом сохранился этот духовный дуализм Франции, то ответить на него должна история, так как этнографических наблюдений недостаточно для его решения. Разнообразие рас не могло быть единственной причиной этого, так как самые различные расы могут смешаться и совершенно потеряться одна в другой. Между северным и южным типами в действительности нет такого антагонизма, чтобы века совместной жизни оказались бессильными победить его. Житель Лотарингии меньше отличается от нормандца, чем провансалец от обитателя *Ile-de-France*. Но благодаря историческим причинам провинциальный дух и местные традиции сохранили свою силу больше на юге, тогда как на севере необходимость встречаться лицом к лицу с общим неприятелем, более тесная солидарность интересов, более частое соприкосновение заставили население слиться и смешаться между собой. Именно благодаря этой духовной нивелировке, оживляющей общение людей и обмен идеями, исторические судьбы избрали эту область хранительницей наивысшей культуры.

III

Теория, считающая расу важным фактором предрасположения к самоубийству, кроме того, *implicite* допускает, что предрасположение это наследственно, так как только при этом условии ему можно приписать этнический характер. Но доказана ли наследственность самоубийства? Вопрос этот тем более заслуживает рассмотрения, что помимо своей связи с предыдущим он сам по себе представляет значительный интерес. Если бы действительно было установлено, что предрасположение к самоубийству передается от поколения к поколению, то пришлось бы признать, что оно тесно связано с определенным органическим строением.

Необходимо, однако, уже с самого начала условиться относительно смысла терминов. Когда говорят про самоубийство, что оно наследственно, подразумевают ли под этим просто, что дети самоубийц, унаследовав характер своих родителей, при аналогичных обстоятельствах склонны поступать так же, как и они? При такой постановке вопроса ничего нельзя возразить против этого положения, но тогда оно лишается для нас всякой ценности, так как в этом случае не самоубийство наследственно, а преемственно передается некоторый общий темперамент, который может в подходящем случае предрасположить индивида, но не заставить его непременно покончить с собой и который поэтому не может служить достаточным объяснением поступков данного субъекта. Мы видели, что индивидуальное строение, которое способствует в высшей степени появлению неврастения в различных ее формах, не имеет никакого отношения к изменениям процента самоубийств. Совершенно в другом смысле психологи часто говорили о наследственности: они говорили о наклонности лишать себя жизни, которая непосредственно и целиком переходит от родителей к детям и зарождает в уме индивида мысль о самоубийстве чисто автоматически. В этом случае наклонность к самоубийству должна была бы действовать в некотором роде психомеханически, не без известной самостоятельности, и очень немногим отличалась бы от мономании, причем ей, вполне вероятно, должен был бы соответствовать не менее определенный физиологический механизм. Следовательно, она коренным образом зависела бы от индивидуальных причин.

Подтверждают ли наблюдения существование подобной наследственности? Разумеется, часто можно наблюдать, что самоубийство регулярно и трагично повторяется в одном и том же семействе. Яркий случай приводит *Gall*. «Господин Г., богатый человек, умирая, оставил семерым своим сыновьям наследство в 2 000 000 франков; шестеро из них остались в Париже или в его окрестностях и сберегли оставленную каждому из них часть наследства, а некоторые даже увеличили ее. Все они были вполне счастливы и обладали цветущим здоровьем. Тем не менее в течение 40 лет все семь братьев лишили себя жизни». Эскироль знал одного негоцианта, отца шестерых детей, из которых четверо лишили себя жизни, а пятый сделал несколько попыток к самоубийству. В других случаях мы видим, что отцы, дети и внуки одержимы одним и тем же стремлением. Но пример физиологии должен научить нас не делать преждевременных заключений в вопросе о наследственности, который требует большой осмотрительности. Очень часто встречаются случаи, когда туберкулез уничтожает последовательно несколько поколений, и тем не менее ученые все-таки колеблются признать его наследственным и даже склоняются, по-видимому, к противоположному мнению. Это повторение одной и той же болезни в кругу одного и того же семейства может зависеть не от наследственности самого туберкулеза, а от общего предрасположения, делающего данный организм особенно благоприятной почвой для появления и размножения в нем бацилл данного недуга. В этом случае передается не сама болезнь, а благоприятная для ее развития почва. Для того чтобы иметь право категорически отвергать это последнее объяснение, надо хотя бы установить, что бацилла Коха часто встречается в самом человеческом зародыше; но поскольку такое наблюдение не было сделано, сомнение в наследственной передаче чахотки вполне законно. С той же осторожностью надо

относиться и к интересующей нас проблеме; для разрешения ее недостаточно перечисления нескольких благоприятных в смысле наследственности фактов – нужно, чтобы эти факты были в достаточном количестве, чтобы они не могли быть отнесены на счет случайного стечения обстоятельств, чтобы они не допускали никакого другого объяснения и не были опровергнуты никакими другими фактами.

Отвечают ли они этому тройному условию? Правда, подобные факты не считаются редкими, но этого недостаточно для того, чтобы вывести заключение о наследственной природе самоубийства. Надо в особенности определить, по отношению к какой доле общего числа самоубийств они оказываются верными. Если бы для относительно высокой доли общей цифры самоубийств было доказано существование самоубийств у предков, то с полным основанием можно было бы утверждать, что между этими двумя фактами существует причинная связь, что самоубийство имеет свойство передаваться по наследству. Поскольку такого доказательства в нашем распоряжении не имеется, всегда будет основание спросить себя, не вызываются ли приводимые факты случайными комбинациями различных причин. Наблюдения и сравнения, которые одни могли бы решить этот вопрос, никогда не производились в достаточно широком размере; обыкновенно довольствуются тем, что передают некоторое количество интересных анекдотов. Те немногие сведения по этому вопросу, которые мы имеем, недостаточно убедительны и даже отчасти противоречивы. На 39 умалишенных с более или менее ясно выраженной склонностью к самоубийству, которых имел возможность наблюдать доктор *Lays* в своей лечебнице и по отношению к которым ему удалось собрать достаточно полные сведения, он нашел только один случай, где эта склонность уже встречалась раньше в семье больного. На 265 умалишенных *Briere de Boismont* нашел только 11 случаев, т. е. 4 % больных, родители которых покончили с собой. Пропорция, которую дает *Cazauvieilh*, гораздо значительнее: у 13 индивидов из 60 он нашел прецеденты в прошлом поколении, что составляет 28 %. Согласно баварской статистике, единственной, которая отметила влияние наследственности, на протяжении 1857–1866 гг. насчитывается до 13 % самоубийств наследственного характера. Как ни малоубедительны эти факты, если истолковывать их с точки зрения гипотезы, принимающей существование специальной наследственности самоубийства, однако гипотеза эта приобретает некоторый авторитет, раз невозможно подыскать никакого другого объяснения. Но существуют по меньшей мере две другие причины, которые могут вызвать тот же эффект, особенно при своем сочетании. Во-первых, почти все наблюдения сделаны психиатрами и, следовательно, над умалишенными. Психическое расстройство, может быть, чаще всех других болезней передается по наследству. Поэтому можно спросить себя: наследственна ли сама склонность к самоубийству или скорее умственное расстройство, частым, но случайным симптомом которого является самоубийство. Сомнение наше тем более основательно, что, по признанию всех делавших наблюдение, случаи, благоприятные для гипотезы наследственности, встречались по большей части – если не исключительно – именно среди самоубийц-умалишенных. Без сомнения, при этих условиях наследственность играет важную роль, но здесь идет речь не о наследственной склонности к самоубийству; передается по наследству умственное расстройство в его общем виде, нервный недуг, случайным и сомнительным последствием которого является самоубийство. Здесь наследственность распространяется на склонность к самоубийству не более чем на кровохарканье в случаях наследственного туберкулеза. Если какой-нибудь несчастный, в семье которого есть и умалишенные, и самоубийцы, убивает себя, то делает он это не потому, что родственники его покончили с собой, а потому, что они были сумасшедшими. Душевные болезни, передаваясь по наследству, трансформируются; так, например, меланхолия в старшем поколении превращается у младшего в хроническое безумие и инстинктивное сумасшествие; и поэтому может случиться, что несколько членов одной и той же семьи кончают с собой и что все эти самоубийства проистекают от различных видов безумия и принадлежат поэтому к различным типам.

Но одной этой причины недостаточно для того, чтобы объяснить все факты, так как, с одной стороны, не доказано, что самоубийство повторяется только в семьях, где есть умалишенные, с другой – остается необъясненной та замечательная особенность, что в некоторых из этих семейств самоубийство носит, по-видимому, заразительный характер, хотя психическое расстройство не влечет за собой непременно такого последствия. Не каждый сумасшедший стремится лишить себя жизни. Откуда же происходит целая категория сумасшедших, стремящихся покончить с собой? Подобное совпадение обстоятельств дает повод подозревать существование другого фактора, сверх предыдущего; определить его можно, не прибегая к гипотезе наследственности; достаточно одной заразительной силы примера, чтобы создать этот новый фактор.

Мы увидим в одной из нижеследующих глав, что самоубийство очень заразительно. Эта способность заражаться особенно ярко чувствуется у индивидов, структура которых делает их более чувствительными ко всякому внушению вообще и к идее о самоубийстве в частности; они не только склонны воспроизводить все то, что поражает их впечатлительность, но в особенности заражаются поступком, к которому у них уже есть некоторое предрасположение, и повторяют его. Это двойное условие имеется в наличности у людей умалишенных или у простых неврастеников, родители которых покончили с собой. Слабость нервной системы делает их восприимчивыми к гипнозу и в то же самое время предрасполагает их спокойно относиться к мысли о смерти; поэтому нет ничего удивительного, что воспоминание о трагической смерти своих близких или зрелище ее становится для таких субъектов источником навязчивой идеи или непреодолимого стремления к самоубийству.

Это объяснение отнюдь не является менее удовлетворительным, чем гипотеза наследственности; существует целый ряд фактов, доступных только ему одному. Часто случается, что в семьях, где наблюдаются повторные случаи самоубийства, они почти вызываются один другим; они не только случаются в одном и том же возрасте, но происходят совершенно одинаковым образом. Иногда предпочтение отдается повешению, в других случаях прибегают к самоудушению газами или бросаются с возвышенного места. В одном часто приводимом случае сходство простирается еще дальше. Одно и то же оружие служило для всей семьи и на протяжении многих лет. В этих явлениях хотели видеть еще одно доказательство существования наследственности. Но если существуют серьезные причины, в силу которых нельзя делать из самоубийства особой психологической сущности, то во сколько же раз труднее признать существование особой склонности лишать себя жизни посредством повешения или пистолета. Разве эти факты не указывают скорее на то, как велика заразительная сила примера, действующая на умы оставшихся в живых людей, родные которых уже внесли кровавую страницу в историю своей семьи? С какой силой должно их преследовать воспоминание об этой добровольной смерти, чтобы заставить решиться повторить с поразительной точностью то, что было сделано их предшественниками!

Предлагаемое нами объяснение подтверждается еще тем, что многочисленные случаи, где не может быть и речи о наследственности и где все зло происходит по вине заразительной силы примера, являют те же самые признаки. Во время эпидемий, о которых будет говориться ниже, обыкновенно наблюдается, что различные случаи самоубийств имеют между собой самое поразительное сходство, можно сказать, являются копией один другого. Всем известен рассказ о пятнадцати инвалидах, которые в 1772 г. один за другим за короткое время повесились на одном и том же крюке в темном коридоре; как только крюк был снят, эпидемия прекратилась. То же самое было в булонском лагере: один солдат застрелился в часовой будке; через несколько дней у него оказались последователи, которые покончили с собой в той же будке; как только ее сожгли, эпидемия прекратилась. Во всех этих случаях преобладающее влияние навязчивости идей очевидно, поскольку самоубийство прекращается, как только исчезает материальный предмет, вызывающий эту идею. Поэтому если самоубийства, явно вытекаю-

щие одно из другого, по-видимому, совершаются по одинаковому образцу, то вполне законно будет приписать их именно этой причине, тем более что она должна иметь свой *maximum* в тех семьях, о которых мы выше говорили, – в семьях, где все способствует усилению действия этого фактора.

К тому же многие люди сами чувствуют, что, поступая так же, как их родители, они поддаются заразной силе примера. Такой случай наблюдал *Esquirol*: «Самый младший брат, лет 26–27, впал в меланхолию и бросился вниз с крыши дома; второй брат, который ухаживал за ним после этого падения, обвинял себя в его смерти, несколько раз пытался покончить с собой и через год умер от последствий длительного, многократного голодания; четвертый брат, врач по профессии, два года тому назад с отчаянием уверявший меня, что и ему не избежать этой участи, тоже лишает себя жизни». *Mogean* приводит следующий случай: один умалишенный, у которого брат и дядя с отцовской стороны покончили жизнь самоубийством, мучился мыслью лишить себя жизни. Брат, посещавший его в Шарантоне, пришел в отчаяние от тех ужасных мыслей, которые внушал ему больной, и не мог отделаться от убеждения, что и он сам в конце концов подпадет под их власть. Один больной сделал *Brierre de Boismont* следующее признание: «До 53 лет я был совершенно здоров; у меня не было никакого горя, характером я обладал довольно веселым, как вдруг три года тому назад на меня стали находить мрачные мысли... в продолжение вот уже трех месяцев они совершенно не дают мне покоя, и каждую минуту что-то толкает меня покончить с собой. Я не скрою от вас, что мой брат лишил себя жизни 60 лет, но я никогда серьезно не думал над этим обстоятельством, когда же я дожил до 56 лет, то воспоминание об этом событии живо воскресло в моей памяти и теперь уже не покидает меня». Но наиболее яркий факт передает нам *Falret*: одна молодая девятнадцатилетняя девушка узнала, что «дядя ее с отцовской стороны лишил себя жизни; это известие очень огорчило ее; она уже раньше слышала о наследственности сумасшествия, и мысль о том, что и она может впасть в это ужасное состояние, заплонила ее сознание... Она находилась в этом ужасном настроении, когда отец ее также лишил себя жизни; с этих пор она твердо уверовала в то, что и ее самое ждет наследственная смерть. Ее стала занимать только мысль о ее близком конце, и она беспрестанно повторяла: «Я погибну так же, как погибли мой отец и дядя. Кровь моя заражена безумием!» Она пыталась даже покончить с собой, но неудачно. Человек, которого она считает своим отцом, не был им в действительности, и, чтобы освободить ее от мучившего ее страха, мать ее решилась признаться ей во всем и устроить ей свидание с ее настоящим отцом. Физическое сходство между отцом и дочерью было так поразительно, что все сомнения больной тотчас же рассеялись; с этой минуты она отказалась от всякой мысли о самоубийстве, к ней вернулась ее веселость и быстро восстановилось ее здоровье».

Таким образом, с одной стороны, наиболее благоприятных для теории наследственности случаев самоубийства недостаточно, чтобы доказать правильность этой теории, а с другой – они без всякого труда находят себе иное объяснение. Более того: некоторые факты, обнаруженные статистикой, значение которых, очевидно, ускользнуло от наблюдения психологов, совершенно не согласуются с гипотезой наследственной передачи в точном смысле этого слова. Факты эти следующие.

1. Если существует психоорганический детерминизм наследственного происхождения, predisposing людей к самоубийству, то он должен почти одинаково влиять на оба пола. Так как самоубийство само по себе не содержит в себе ничего сексуального, то нет никаких данных к тому, чтобы зарождение склонности к самоубийству больше замечалось у мальчиков, чем у девочек. На самом деле мы знаем, что среди женщин самоубийства встречаются редко и являются только небольшой частью числа самоубийств среди мужчин. Этого не было бы, если бы наследственность обладала приписываемой ей силой. На это могут возразить, что женщины, так же как и мужчины, получают в наследство склонность к самоубийству, но что эта последняя постепенно нейтрализуется социальными условиями, в которых живут женщины.

Но что же можно думать о наследственности, раз в большинстве случаев она не проявляется или ограничивается очень смутной возможностью, ничем даже не доказуемой?

2. Исходя из наследственности туберкулеза, *Cruncher* говорит следующее: «Вполне можно признать существование наследственности в случаях этого рода (речь идет о чахотке у трехмесячного ребенка) – все подтверждает это предположение... Уже менее достоверно, что туберкулез начался еще в утробе матери, раз он проявляется через 15–20 месяцев после рождения и раз ничто не указывало раньше на тайное присутствие туберкулеза... Что же можно сказать о туберкулезе, появляющемся через 15, 20, 30 лет после рождения? Предполагая даже, что известное заболевание существовало с самого начала жизни, возникает вопрос, мог ли зародыш болезни сохраниться в силе в течение такого длинного промежутка времени. Естественно ли обвинять во всем эти ископаемые микробы вместо живых бацилл, которые человек встречает на своем пути?» Действительно, для того чтобы иметь право утверждать, что данная болезнь наследственна, при отсутствии решительного доказательства в пользу того, что семя ее заложено еще в зародыше или наблюдается у новорожденного, необходимо по крайней мере установить, что болезнь эта часто появляется у очень маленьких детей. Вот почему в наследственности видят основную причину особого вида безумия, которое проявляется с первых дней рождения и которое поэтому носит название наследственного безумия. Кох указал даже, что в тех случаях, когда сумасшествие не передается всецело по наследству, оно испытывает на себе влияние наследственности; и предрасположение в этих случаях гораздо быстрее действует, чем там, где не было известных прецедентов.

Правда, приводят примеры некоторых признаков, которые считаются наследственными, но проявляются только в более или менее зрелом возрасте; таковы, например, борода у человека, рога у животных и т. д. Но это опоздание только в определенных случаях может быть объяснено гипотезой наследственности, а именно тогда, когда оно зависит от органического состояния, которое не может быть создано иначе как путем индивидуальной эволюции; например, во всем, что касается половых функций, наследственность не может, очевидно, проявиться раньше половой зрелости. Но если переданное свойство действительно в любом возрасте, то обнаружить себя оно должно было бы сразу. Следовательно, чем больше ему нужно времени для того, чтобы появиться на свет, тем скорее надо признать, что оно получает от наследственности самое слабое поощрение. Но неизвестно, почему склонность к самоубийству должна быть более связана с одной фазой органического развития, чем с какой-либо другой. Если она представляет собой определенный механизм, который может передаваться в совершенно законченном виде, то она должна была бы начать действовать с первых же лет жизни.

На самом деле происходит обратное. Самоубийство среди детей наблюдается чрезвычайно редко. Во Франции, по *Legoyt*, на 1 миллион детей ниже 16-летнего возраста в течение 1861–1875 гг. приходится 4,3 случая на мальчиков и 1,8 – на девочек. В Италии, по Морселли, цифры еще меньше: они не поднимаются выше 1,25 для одного пола и 0,33 – для другого (1866–1875 гг.), и такова пропорция почти во всех странах.

Раньше 5-летнего возраста самоубийств не бывает, да и в этом возрасте они совершенно исключительное явление; к тому же еще не доказано, чтобы эти исключительные случаи объяснялись наследственностью. Не надо забывать того, что ребенок тоже испытывает на себе влияние социальных причин и что этого обстоятельства вполне достаточно, чтобы толкнуть ребенка на самоубийство. Факт этот доказывается тем, что самоубийство у детей варьирует в зависимости от социальной обстановки, их окружающей; нигде оно не замечается так часто, как в больших городах. Это вполне понятно, потому что нигде социальная жизнь так рано не начинается для ребенка, как в городе, что доказывается быстротой умственного развития у городского ребенка; раньше по времени и полнее приобщенный к ходу нашей цивилизации, городской ребенок скорее ощущает на себе ее последствия. В силу этих причин в наиболее культурных странах самоубийства детей увеличиваются с ужасающей регулярностью. Но мало

того, что самоубийства встречаются вообще чрезвычайно редко у детей; только к старости они достигают своего апогея, а в промежутке, в зрелом возрасте, число их регулярно увеличивается из года в год.

С некоторыми изменениями отношения эти почти одинаковы во всех странах. Швеция – единственная страна, где максимум падает на промежуток между 40–50 годами; везде в других странах самоубийства достигают максимума в последний или предпоследний период жизни; и везде, с очень небольшими исключениями, которые, может быть, зависят от ошибок переписи, возрастание идет непрерывно вплоть до этого высшего предела. Понижение склонности к самоубийству, наблюдаемое в возрасте свыше 80 лет, не носит абсолютного характера, и, во всяком случае, оно чрезвычайно слабо. Контингент самоубийц в этом возрасте ниже того, который наблюдается у стариков 70 лет, но он все еще выше по сравнению с другими, во всяком случае, по сравнению с большинством других возрастов. Каким образом после всего сказанного можно приписывать наследственности склонность, появляющуюся только у взрослых и *усиливающуюся с этого момента по мере дальнейшего хода человеческой жизни*? Как можно считать прирожденным заболевание, которое в детстве или отсутствует, или совсем слабо и которое, все усиливаясь и развиваясь, достигает своего *maximum'a* только у стариков?

Закон наследственности, проявляющийся в определенном возрасте, не может быть применим в данном случае. Он говорит, что при известных обстоятельствах жизни унаследованная склонность проявляется у потомков почти в том же возрасте, что и у предков; но это, очевидно, не касается самоубийства, которое свыше 10 или 15 лет наблюдается во всех возрастах без различия.

Характерной чертой для самоубийства является не то обстоятельство, что склонность к нему проявляется в определенном возрасте, но что она непрерывно прогрессирует из года в год. Эта непрерывная прогрессия доказывает, что причина, от которой она зависит, развивается сама по мере того, как стареет человек. Наследственность этому условию не удовлетворяет, так как по существу своему она должна быть тем, что она есть, с того самого момента, как произошло оплодотворение. Можно ли сказать, что склонность к самоубийству уже существует в скрытом состоянии с самого дня рождения, но проявляется только под влиянием других сил, обнаруживающихся поздно и развивающихся прогрессивно? Ведь это значило бы признать, что наследственное влияние сводится преимущественно к предрасположению очень общего и неопределенного характера; в самом деле, если встреча его с другим фактором до такой степени необходима, что оно только тогда начинает действовать, когда присутствует этот фактор, и в той мере, в которой он присутствует, то этот фактор и должен считаться настоящей причиной.

Наконец, характер изменений числа самоубийств по возрастам доказывает, что, во всяком случае, психоорганическое состояние не может считаться определяющей причиной, так как все зависящее от организма, подчиняясь ритму жизни, последовательно проходит через фазу возрастания, затем остановки и, наконец, регрессии. Нет ни одного биологического или психологического явления, прогрессирующего бесконечно: все, дойдя до апогея своего развития, идет к упадку. Наоборот, склонность к самоубийству приходит к своей кульминационной точке только в самом преклонном возрасте. Даже падение, отмечаемое довольно часто около 80 лет, помимо того что оно очень незначительно и совсем не носит общего характера, имеет только относительное значение, так как 90-летние старики лишают себя жизни не менее часто, а иногда чаще, чем 70-летние. Не доказывает ли это обстоятельство, что причина, заставляющая варьировать процент самоубийств, не может состоять в прирожденном и неизменном импульсе, что ее надо искать в прогрессивном влиянии социальной жизни? Оттого и склонность к самоубийству появляется позднее или раньше, в зависимости от того, когда человек вступает в жизнь, и увеличивается по мере того, как индивид теснее связывается с обществом. Таким образом, мы пришли к выводу предыдущей главы. Конечно, самоубийство возможно

только в том случае, если организация индивида не противится этому, но индивидуальное состояние, которое для совершения самоубийства всего благоприятнее, состоит не в определенной и автоматической наклонности (за исключением случаев сумасшествия), но в смутной и общей способности, могущей принимать различные формы, смотря по обстоятельствам; эта неопределенная общая наклонность позволяет совершиться самоубийству, но не вызывает его с необходимостью, а следовательно, не может служить ему объяснением.

Глава III

Самоубийство и космические факторы

Но если индивидуальные предрасположения сами по себе не являются определяющими причинами самоубийства, они, быть может, способны оказать более значительное влияние в соединении с известными космическими факторами. Ведь благоприятная материальная среда вызывает иногда развитие болезней, которые без нее остались бы в зародыше; а можно предположить, что она способна вызвать фактическое проявление той общей и чисто потенциальной склонности к самоубийству, которая присуща известным индивидам. В таком случае процент самоубийств нельзя уже было бы рассматривать как социальное явление; будучи результатом сочетания определенных физических причин и некоторого психоорганического состояния, он всецело или главным образом свелся бы к явлениям психопатологического порядка. Правда, таким путем было бы, конечно, очень трудно объяснить, почему каждая социальная группа характеризуется вполне определенным процентом самоубийств, ведь космическая среда не изменяется сколько-нибудь заметно при переходе от одной страны к другой. Тем не менее один важный результат все же, по-видимому, может быть здесь достигнут: могут быть объяснены по крайней мере некоторые колебания относительного числа самоубийств без вмешательства социальных причин.

Среди факторов этого рода только двум приписывалось до сих пор влияние на число самоубийств, а именно климату и температуре различных времен года.

I

Вот как распределяются самоубийства на карте Европы в зависимости от широты места:

от 36°–43° широты	21,1 самоубийства	на 1 000 000 жит.
» 43°–5° »	93,3 »	»
» 5°–55° »	172,5 »	»
Свыше 55° »	88,1 »	»

Как видим, минимум самоубийств приходится на юг и север Европы; в центре процент их наиболее высок; Морселли внес сюда еще больше точности, установив, что пространство, ограниченное 47° и 57° широты, с одной стороны, 20° и 40° долготы – с другой, является местом преимущественного развития самоубийств. Эта зона почти вполне совпадает с наиболее умеренной областью Европы. Следует ли видеть в этом совпадении результат климатических влияний?

Морселли отвечает на этот вопрос утвердительно, хотя и не без некоторого колебания. В самом деле, трудно усмотреть, в чем может заключаться связь между умеренным климатом и склонностью к самоубийству; нужно чрезвычайно строгое совпадение фактов, чтобы сделать подобного рода гипотезу приемлемой. Между тем в действительности не наблюдается такого строго определенного соотношения между самоубийством и тем или другим климатом; несомненно, наоборот, что самоубийство процветало в самых различных климатах. В настоящее время Италия сравнительно мало подвержена этому бедствию; но оно было там чрезвычайно распространено во времена империи, когда Рим был столицей цивилизованной Европы. Равным образом в известные эпохи оно достигало значительного развития под жгучим небом Индии (см.: кн. II, гл. IV).

Уже самые очертания этой зоны доказывают, что климат не является причиной тех многочисленных убийств, которые в ней совершаются. Пятно, образуемое ею на карте, состоит не из одной полосы, более или менее ровной и одинаковой на всем своем протяжении, включаю-

щей в себя все страны с одним и тем же климатом, но явно разбивается на два отдельных пятна: одно, имеющее своим центром *Ile-de-France* и прилежащие департаменты, другое – Саксонию и Пруссию. Таким образом, интересующая нас зона совпадает не с какой-либо областью, строго определенной в климатическом отношении, а с двумя главными очагами европейской цивилизации. Следовательно, именно в характере этой цивилизации, в способе ее распределения между различными странами, а не в таинственных свойствах климата следует искать причины неодинаковой склонности народов к самоубийству.

Подобным же образом может быть объяснен и другой факт, который отметил уже Герри, а Морселли подтвердил новыми наблюдениями и который, хотя и допускает известные исключения, тем не менее носит достаточно общий характер. В странах, которые не входят в состав центральной зоны, области, наиболее приближающиеся к ней как с севера, так и с юга, вместе с тем наиболее обильны самоубийствами. Так, например, в Италии самоубийства особенно распространены на севере, тогда как в Англии и Бельгии они преобладают на юге. Нет, однако, никакого основания приписывать эти факты близости умеренного климата. Не естественнее ли предположить, что идеи, чувства – одним словом, все те социальные стимулы, которые с такой силой толкают на самоубийство жителей Северной Франции и Северной Германии, находят себе место и в соседних с ними странах, живущих приблизительно той же жизнью, хотя и с меньшей интенсивностью.

В Италии до 1870 г. северные провинции насчитывали больше всего самоубийств, центр следовал за ними, а юг занимал последнее место. Но мало-помалу расстояние между севером и центром уменьшилось, и в конце концов они поменялись местами. Между тем климатические условия различных районов остались неизменными. Изменилось только одно: вследствие завоевания Рима в 1870 г. столица Италии была перенесена в центр страны. Научное, артистическое, экономическое движения переместились в том же направлении. Самоубийства последовали за ними.

Нет, таким образом, никаких оснований настаивать на вышеприведенной гипотезе, которую решительно ничто не подтверждает и которой противоречит столько фактов.

II

Влияние температуры различных времен года, по-видимому, лучше установлено. Соответственные факты допускают различные толкования, но наличность их не подлежит никакому сомнению.

Если, вместо того чтобы наблюдать факты, мы попытаемся путем априорных соображений предсказать, какое время года должно наиболее благоприятствовать самоубийствам, то мы естественнее всего остановимся на мысли, что этим временем года должны быть те месяцы, когда солнце показывается наиболее редко, когда температура наиболее низка, когда погода наиболее сыра. В самом деле, тот унылый вид, который принимает в это время природа, должен, по-видимому, неизбежно располагать к мечтательности, пробуждать тоскливые настроения, вызывать меланхолию. К тому же как раз в этот период жизнь оборачивается к людям самой суровой своей стороной, ибо в холодные месяцы, с одной стороны, требуется усиленное питание для пополнения недостатка естественной теплоты, с другой стороны, добывание пищи затрудняется. Вот те соображения, исходя из которых еще Монтескье считал холодные и сырые страны особенно благоприятной почвой для развития самоубийств; и в течение долгого времени это мнение принималось всеми безапелляционно. Применяя его к отдельным временам года, пришли к мысли, что осенью самоубийства должны достигать своего апогея. Хотя уже *Esquyrol* высказал сомнение в точности этой теории, тем не менее *Falret* все еще принимает ее в принципе. В настоящее время статистика ее окончательно опровергла. Не зимой, не осенью достигает число самоубийств своего максимума, а летом, когда природа имеет самый

радостный вид, а температура самая мягкая. Человек предпочитает расставаться с жизнью в тот момент, когда она для него наиболее легка. В самом деле, если разбить год на два полугодия – одно, содержащее в себе шесть самых теплых месяцев (с марта до августа включительно), и другое, состоящее из шести самых холодных месяцев, то, как оказывается, преобладающее число самоубийств всегда падает на первое из них. *Нет ни одной страны, которая бы составляла исключение из этого правила.* Соответственная пропорция самоубийств везде одинакова – пределы отклонения не превышают нескольких единиц. Из 1000 ежегодных самоубийств от 590 до 600 приходится на летние месяцы и только 400 – на остальную часть года.

Соотношение между самоубийством и колебаниями температуры может быть даже определено с большей точностью.

Если мы условимся называть зимой три месяца – с декабря до февраля включительно, весной – март, апрель и май, летом – июнь, июль и август и осенью – остальные три месяца и если мы распределим эти четыре сезона соответственно тому месту, которое занимает в течение каждого из них смертность от самоубийства, то мы почти всегда найдем, что лето стоит на первом месте. Морселли имел возможность сравнить с этой точки зрения 34 различных периода в 18 европейских государствах и констатировал, что в 30 случаях, т. е. в 88 из ста, максимум самоубийств падает на летний период, только в трех случаях – на весну и в одном случае – на осень. Это последнее уклонение, наблюдавшееся в одном только великом герцогстве Баденском и в один только момент его истории, не имеет значения, ибо оно есть результат подсчета, охватывающего слишком короткий промежуток времени; к тому же оно не повторялось в позднейшие периоды. Три прочих исключения столь же малоубедительны. Они относятся к Голландии, Ирландии и Швеции. Что касается двух первых стран, то те цифровые данные, которые послужили основанием для вычисления сезонной средней, слишком малочисленны для того, чтобы из них можно было делать какие бы то ни было достоверные выводы, – в Голландии было зарегистрировано всего 387, в Ирландии – 755 случаев. К тому же статистика у обоих этих народов не получила еще достаточно авторитетной постановки. Наконец, в Швеции данный факт был констатирован только в течение периода 1835–1851 гг. Таким образом, если ограничиться теми государствами, относительно которых мы имеем совершенно несомненные сведения, то установленный выше закон окажется абсолютным и всеобщим.

Период, на который падает минимум самоубийств, отличается не меньшей правильностью: в 30 случаях из 34, т. е. в 88 из ста, он приходится на зиму; в четырех случаях – на осень. Четыре отклоняющиеся страны: Ирландия, Голландия (как и в предыдущем случае), Бернский кантон и Норвегия. Мы уже знаем, насколько малоубедительны две первые аномалии; третья еще менее доказательна, так как она выведена из наблюдения всего 97 самоубийств. Итак, в 26 случаях из 34, т. е. в 76 из ста, сезоны располагаются в следующем порядке: лето, весна, осень, зима. Этот закон без малейшего исключения наблюдается в Дании, Бельгии, Франции, Пруссии, Саксонии, Баварии, Вюртемберге, Австрии, Швейцарии, Италии и Испании.

Пользуясь этим бесспорным фактом, Ферри и Морселли пришли к выводу, что температура воздуха имеет на склонность к самоубийству прямое влияние и что чисто механическое действие, оказываемое жаром на мозговые функции человека, заставляет последнего кончать с собой. Ферри пытался даже объяснить, каким образом это происходит.

С одной стороны, говорит он, жара увеличивает возбудимость нервной системы, а с другой, поскольку в жаркое время года организм не нуждается в большой массе продуктов для поддержания температуры своего тела на желаемой высоте, получается избыточное накопление сил, которые, естественно, ищут себе выхода. Вследствие этой двойной причины летом наблюдается чрезмерное развитие активности, избыток жизни, рвущейся наружу и могущей проявиться только в форме насильственных действий; самоубийство является одним из таких проявлений, убийство – другим, и потому количество добровольных смертей увеличивается в течение лета, равно как и чисто уголовных преступлений. Кроме того, психическое расстрой-

ство во всех его видах также особенно сильно, по общему мнению, развивается летом; поэтому естественно, что самоубийство, в силу своей связи с сумасшествием, обнаруживает ту же картину. Эта соблазнительная по своей простоте теория кажется на первый взгляд вполне совпадающей с фактами; представляется даже, что она есть их непосредственное выражение. На самом деле это далеко не так.

III

Раньше всего эта теория дает очень спорную концепцию самоубийства, предполагая, что ему всегда предшествует психологическое состояние крайнего возбуждения и что оно само есть насильственное действие, возможное только при наличности большого запаса сил. В действительности самоубийство, наоборот, часто является результатом крайней подавленности. Если встречаются самоубийства в состоянии экзальтации и раздражения, то не менее часто совершаются они в состоянии пассивной тоски; в дальнейшем мы будем иметь случай указать примеры этого рода. Совершенно невозможно допустить, чтобы жара одинаковым образом действовала на эти два вида самоубийств. Если она вызывает один, то должна подавлять другой. Усиливающее влияние, которое она может проявлять по отношению к одним индивидам, должно нейтрализоваться и как бы аннулироваться тем умиротворяющим действием, которое она производит на других; поэтому ее влияние не должно было бы проявляться таким ярким образом, в особенности в статистических данных. Колебания статистических цифр в зависимости от времен года должны иметь какую-нибудь другую причину; что же касается утверждения, что здесь мы имеем простой отзвук аналогичных и одновременных колебаний в области психических расстройств, то для такого объяснения надо допустить существование более тесной и непосредственной связи между самоубийством и сумасшествием, чем это наблюдается в действительности. К тому же еще не доказано, что времена года одинаковым образом влияют на эти два явления. И если бы даже параллелизм этих двух явлений был несомненен, оставался бы под большим сомнением вопрос о том, зависят ли подъем и падение кривой сумасшествия от изменений температуры. Совершенно неизвестно, не производят ли этого результата или не способствуют ли ему причины совершенно другого рода.

Но прежде чем принять то или другое объяснение этого приписываемого жаре влияния, посмотрим, существует ли оно в действительности.

Из некоторых наблюдений, по-видимому, действительно следует, что слишком сильная жара может побудить человека лишиться себя жизни. Во время египетской экспедиции число самоубийств во французской армии увеличилось, и это обстоятельство было приписано влиянию высокой температуры. Под тропиками часто наблюдается, что люди внезапно бросаются в море в тот момент, когда лучи солнца падают совершенно вертикально. Доктор Дитрих рассказывает, что во время кругосветного плавания, совершенного в 1844–1847 гг. графом Карлом Тортцом, он обратил внимание на своеобразный непобедимый позыв, овладевавший матросами экипажа; он называет это явление «the horrors» и описывает его следующим образом: «Болезненное состояние проявляется обыкновенно зимой, когда, после продолжительного плавания, матросы сходят на сушу, без всяких предосторожностей садятся около жарко растопленной печи и предаются, согласно установившемуся обычаю, излишествам всякого рода. С возвращением на корабль начинают проявляться симптомы ужасного «horrors». Какая-то непобедимая сила толкает людей, находящихся в этом состоянии, бросаться в море; умопомешательство охватывает их во время работы на вершине мачт, иногда припадок случается во время сна. и несчастные выбегают на палубу, испуская ужасные крики». Равным образом наблюдали, что сирокко, который неизбежно сопровождается удушливой жарой, оказывает аналогичное влияние на самоубийство.

Но не только жара имеет такое влияние на количество добровольных смертей; то же самое наблюдается и по отношению к холоду. Говорят, например, что при отступлении из Москвы во французской армии наблюдались многочисленные случаи самоубийства. Очевидно, эти факты нисколько не объясняют, почему регулярно летом число самоубийств больше, чем осенью, и осенью больше, чем зимою. Если что и можно заключить из вышеуказанного, так только то, что температуры чрезмерно низкая и чрезмерно высокая влияют одинаково на количество самоубийств. Вполне понятно, что крайности всякого рода, внезапные и резкие перемены в физической среде потрясают организм человека, расстраивают нормальное отправление его функций и вызывают своего рода помешательство, в течение которого мысль о самоубийстве может зародиться и, если ничто не рассеет ее, даже реализоваться. Но между этими исключительными и ненормальными пертурбациями и теми количественными изменениями, которые испытывает температура в течение каждого года, нет никакой аналогии. Вопрос остается совершенно открытым, и разрешения его надо искать в анализе статистических данных.

Если бы температура была основной причиной констатированных нами колебаний, то число самоубийств изменялось бы так же регулярно, как и она. Между тем мы видим совершенно обратное. Весною лишают себя жизни чаще, чем осенью, хотя погода в это время несколько холоднее.

Таким образом, в то время как термометр поднимается на $0,9^{\circ}$ во Франции и на $0,2^{\circ}$ в Италии, число самоубийств уменьшается на 21 % в первой и на 35 % – во второй. Точно так же зимняя температура в Италии гораздо ниже, чем осенняя ($2,3^{\circ}$ вместо $13,1^{\circ}$), и тем не менее число самоубийств почти одинаково в обоих временах года (196 случаев в одном и 194 – в другом). Разница между летом и весной по отношению к количеству совершаемых в них самоубийств всюду очень невелика, тогда как соответственная разница в температуре воздуха весьма значительна. Во Франции для второго явления разница 78 %, для первого только 8 %, в Пруссии – 121 и 4 %.

Эта независимость количества самоубийств от температуры еще более очевидна, если наблюдать число самоубийств не по временам года, а по месяцам. В самом деле: месячные изменения подчинены следующему закону, применимому ко всем странам Европы. Начиная с января включительно число самоубийств регулярно увеличивается из месяца в месяц вплоть до июня, а начиная с этого момента до конца года правильно падает. Чаще всего – в 62 случаях из 100 – максимальное число самоубийств падает на июнь, в 25 случаях – на май и в 12 – на июль. В 60 случаях из 100 минимум падает на декабрь, в 22 – на январь, в 15 – на ноябрь и в 3 – на октябрь. К тому же и наиболее заметные отклонения от этого общего закона выведены из такого малого числа случаев, что не могут иметь большого значения. Там, где можно проследить движение самоубийств на большом протяжении времени, как, например, во Франции, мы видим, что число их повышается вплоть до июня, затем уменьшается вплоть до января, причем разница между крайними точками не меньше 90 – 100 % в среднем. Таким образом, количество самоубийств достигает своего максимума не в самые жаркие месяцы года – июль и август, а наоборот, в августе интенсивность этого явления значительно уменьшается. Точно так же в большинстве случаев минимальное количество самоубийств наблюдается не в январе, который является самым холодным месяцем, а в декабре.

В одной и той же стране в течение месяцев, когда температура остается неизменной, пропорция самоубийств самая разнообразная (например, май и сентябрь, апрель и октябрь – во Франции, июнь и сентябрь – в Италии и т. д.). Но часто наблюдается обратное явление: например, январь и октябрь, февраль и август во Франции насчитывают одинаковое число самоубийств, несмотря на громадную разницу в температуре; то же самое наблюдается в апреле и июле в Италии и Пруссии. Больше того, относительные цифры почти идентичны для каждого месяца в этих различных странах, хотя месячные температуры в них крайне разнятся между

собою. Так, например, май, температура которого $10,47^{\circ}$ в Пруссии, $14,2^{\circ}$ во Франции, 18° в Италии, дает в первой стране 104 случая самоубийства, во второй – 105, в третьей – 103.

Можно сказать то же самое почти обо всех других месяцах. Особенно замечателен в этом отношении декабрь. Его доля в общем годовом числе самоубийств совершенно одинакова для трех наблюдаемых стран – 61 на тысячу, а между тем температура в это время года, достигая $7,9^{\circ}$ в Риме, и $9,5^{\circ}$ в Неаполе, в Пруссии не поднимается выше $0,67^{\circ}$. Не только месячная температура в разных странах различна, но и изменяется она по различным законам. Так, во Франции температура сильнее повышается от января до апреля, чем от апреля до июля, тогда как в Италии – наоборот. Между термометрическими изменениями и числом самоубийств нет никакого соотношения. Если бы температура действительно оказывала то влияние, которое ей приписывают, то влияние это сказывалось бы и в географическом распределении самоубийств: наиболее жаркие страны должны были бы насчитывать наибольшее количество их. Подобный вывод напрашивается с такой очевидностью, что к нему прибегает даже итальянская школа; она пытается доказать, что склонность к убийству также увеличивается с повышением температуры. Ломброзо и Ферри хотели установить, что число убийств, возрастая летом по сравнению с зимой, в то же время оказывается на юге более значительным, чем на севере. К несчастью, поскольку дело касается самоубийств, фактические данные говорят против итальянских криминалистов, так как в южной части Европы самоубийство развито всего слабее: в Италии – в 5 раз меньше, чем во Франции, в Испании и Португалии оно почти не встречается. На французской карте самоубийств единственное сколько-нибудь светлое пятно падает на департаменты, расположенные к югу от Луары. Конечно, мы не хотим сказать, что такое распределение самоубийств действительно является результатом температуры, но, какова бы ни была его причина, оно представляет собою факт, несогласный с теорией, рассматривающей жару как стимул самоубийства.

Сознание этих затруднений и противоречий заставило Ломброзо и Ферри слегка изменить доктрину своей школы, не отказываясь, однако, от ее основного принципа. Согласно приводимому у Морселли мнению Ломброзо, склонность к самоубийству вызывается не столько высокой температурой, сколько наступлением первых жарких дней, т. е. самим контрастом между проходящим холодом и наступающим теплом. Внезапные жары застигают врасплох человеческий организм, еще не привыкший к новой температуре. Но достаточно самого быстрого изучения фактов, для того чтобы убедиться в том, что это объяснение лишено всякого основания. Если бы оно было правильно, то кривая, обозначающая месячное движение самоубийств, должна была бы быть горизонтальной в течение осени и зимы, затем сразу повыситься в момент наступления первых жаров, являющихся источником всех бед, и столь же внезапно опуститься, когда организм успел приспособиться к новым условиям. Мы видим, наоборот, что поступательное движение происходит крайне правильно, увеличение в течение всего времени, пока оно существует, почти одинаково из месяца в месяц; кривая поднимается от декабря до января, от января до февраля, от февраля до марта, т. е. в течение месяцев, когда еще очень далеко до первых жаров, и прогрессивно опускается между сентябрем и декабрем – в тот момент, когда жаркие дни уже давно окончились, так что это явление нельзя приписать их прекращению. Но когда же начинаются жары? Обыкновенно говорят, что они появляются в апреле, и действительно, от марта до апреля термометр поднимается с $6,4^{\circ}$ до $10,1^{\circ}$; повышение, следовательно, доходит до 57 %, тогда как от апреля до мая оно только 40 %, от мая до июня – 21 %. Поэтому максимальное число самоубийств должно было бы падать на апрель; на самом деле увеличение числа самоубийств, наблюдаемое в это время, не выше, чем за период от января до февраля (18 %). Наконец, так как это приращение не только поддерживается, но и возрастает – правда, более медленно – до июня и даже до июля, то очень трудно приписать его влиянию весны, если не продолжить эту часть года до конца лета, исключив только один август.

Кроме того, если бы первые теплые дни влекли за собою столь трагические последствия, то первые холода должны были бы иметь такое же влияние: они также застают организм в тот момент, когда он отвык уже от низкой температуры; они расстраивают отправление жизненных функций до тех пор, пока не наступит полное приспособление. Тем не менее осенью не заметно никакого возрастания, которое хоть немного было бы похоже на наблюдаемое весной. Поэтому мы совершенно не понимаем, каким образом Морселли, признав, что, согласно его теории, переход от тепла к холоду должен иметь те же результаты, что и обратный переход, мог добавить: «Это действие, оказываемое первыми холодами, может быть проверено или статистическими таблицами, или – еще лучше – вторичным повышением всех наших кривых осенью, в октябре и ноябре, т. е. в то время, когда переход от теплого времени года к холодному сильнее всего ощущается человеческим организмом, и в особенности нервной системой».

Даже из цифр, приведенных Морселли, вытекает, что от октября до ноября число самоубийств почти не увеличивается ни в одной стране, а, наоборот, уменьшается. Исключение составляют лишь Дания, Ирландия и Австрия в течение одного только периода (1851–1854 гг.), и увеличение в этих случаях минимальное. В Дании число самоубийств увеличивается с 68 до 71 на 1000; в Ирландии – с 62 до 66, в Австрии – с 65 до 68. Точно так же в октябре увеличение наблюдается только в 8 случаях из 31, а именно в течение одного периода в Норвегии, Швеции, Саксонии, Баварии, Австрии, Пруссии, герцогстве Баденском и в течение двух периодов – в Вюртемберге. Во всех других случаях число самоубийств или уменьшается, или остается в стационарном состоянии. В общем, в 21 случае из 31, т. е. в 67 из 100, между сентябрем и декабрем наблюдается регулярное уменьшение.

Полная непрерывность кривой как во время прогрессивной, так и во время обратной фазы доказывает, что месячные колебания количества самоубийств не могут вытекать из переходящего кризиса организма, возникающего один или два раза в году в результате внезапного и временного нарушения общего равновесия. Эти изменения могут зависеть только от причин, изменяющихся в свою очередь с той же непрерывностью.

IV

Невозможно не заметить с самого начала, каковы эти причины. Если сравнить долю каждого месяца в общем годовом числе самоубийств со средней долготой дня того же времени года, то мы заметим, что два полученных таким образом ряда цифр изменяются совершенно одинаково. Параллелизм получается полный. Максимум и минимум в обоих случаях наступает одновременно; в промежутках явления обоого рода идут *pari passu*. Когда дни быстро увеличиваются, то значительно увеличивается и число самоубийств (от января до апреля); когда замедляется увеличение дня, то же происходит и с количеством самоубийств (от апреля до июня). Такое же соответствие наблюдается в период уменьшения. Даже различные месяцы, у которых длина дня почти одинакова (июль и май, август и апрель), имеют одинаковое число самоубийств.

Такое регулярное и определенное совпадение не может быть случайным. Между движением самоубийств и увеличением дня должно существовать соотношение. Помимо того что эта гипотеза вытекает непосредственно из имеющихся данных, она объясняет нам отмеченный выше факт. Мы уже видели, что в главнейших европейских государствах количество самоубийств распределяется одинаковым образом по различным временам года (сезонам или месяцам). Теория Ферри и Ломброзо совершенно не могла объяснить этого любопытного единообразия, так как температура очень различна в разных странах Европы и неодинаково изменяется, а долгота дней, наоборот, почти одна и та же для всех подвергнутых нами сравнению государств.

Но что окончательно подтверждает существование этого соотношения, так это тот факт, что в каждом времени года большинство самоубийств совершается днем. *Brierre de Boismont* имел возможность рассмотреть 4595 случаев самоубийства, совершенных в Париже между 1834 и 1843 гг. Из 3518 случаев, время совершения которых удалось установить, 2094 произошли днем, 766 – вечером и 658 – ночью. Число самоубийств, совершенных днем и вечером, составляет 4/5 общей суммы, а одни только самоубийства, совершенные днем, дают 3/5 общего числа.

Прусская статистика собрала по данному вопросу более многочисленные данные. Они относятся к 11 822 случаям, имевшим место на протяжении 1869–1872 гг. Они только подтверждают заключение *Brierre de Boismont*. Очевидно, что перевес оказывается на стороне дневных самоубийств. Но если день дает больше самоубийств, чем ночь, то, естественно, число их увеличивается по мере того, как удлиняется день.

Чем же объясняется такое влияние дня?

Конечно, для объяснения этого обстоятельства нельзя ссылаться на действие, оказываемое солнцем и температурой. Количество самоубийств, совершенных среди дня, т. е. в момент самой сильной жары, гораздо менее многочисленно, чем то, которое наблюдается вечером или утром. Ниже мы даже увидим, что в самый полдень число самоубийств значительно уменьшается. За устранением этого объяснения остается еще одно: днем совершается большее число самоубийств потому, что день – это время наибольшего оживления человеческой деятельности, когда скрещиваются и перекрещиваются человеческие отношения, когда социальная жизнь проявляется наиболее интенсивно.

Некоторые имеющиеся у нас сведения относительно того, каким образом число самоубийств распределяется на протяжении дня или на протяжении недели, подтверждают это предположение. На основании 1993 случаев, отмеченных *Brierre de Boismont* в Париже, и 548 случаев, относящихся к общему числу самоубийств во Франции, собранных Терри, она показывает, какие значительные колебания имеют место в течение 24 часов.

Существует два момента, когда самоубийство достигает своего зенита: это те часы, в течение которых совершается наибольшее количество дел, – утро и время после полудня. Между этими двумя периодами существует время отдыха, когда общая деятельность приостанавливается, а с нею приостанавливается и совершение самоубийств. Это ослабление падает на 11 часов утра в Париже и на 12 часов – в провинции. В департаментах этот период более продолжителен и более заметен, чем в столице, так как провинциалы в это время обедают; приостановка самоубийств там также ярче выражена и более продолжительна. Пруссские статистические данные позволяют сделать аналогичные выводы.

С другой стороны, Терри, определив в 6587 случаях день недели, в который совершались самоубийства, получил ряд цифр. Из этих данных вытекает, что число самоубийств уменьшается к концу недели начиная с пятницы, а известно, что в силу общераспространенного предрассудка социальная жизнь замедляет свой темп в пятницу. В пятницу значительно менее оживлено движение по железным дорогам, чем в другие дни; в этот день дурных примет обыкновенно не решаются завязывать новых отношений и не предпринимают важных дел. В субботу, начиная с после полудня, замечается общее замедление социальной жизни; в некоторых странах в этот день очень рано прекращают работу, может быть, предвкушение следующего дня оказывает на умы расслабляющее воздействие. Наконец, в воскресенье экономическая жизнь прекращается окончательно; если бы на место нее не становилась жизнедеятельность другого рода, если бы увеселительные места не наполнялись в тот момент, как пустеют мастерские, конторы и магазины, то, по всей вероятности, число самоубийств в воскресенье уменьшилось бы еще сильнее. Кроме того, в воскресенье особенно высоко относительное участие женщин в общем числе самоубийств – может быть, потому, что в этот день женщина чаще выходит из

дома, к которому она как бы прикована в остальные дни недели; в этот день женщина принимает хоть некоторое участие в общественной жизни.

Все доказывает, таким образом, что день – наиболее благоприятный момент для совершения самоубийства, так как он в то же время является таким моментом, в котором социальная жизнь проявляется во всей интенсивности. Но если это так, то мы нашли причину, которая объясняет нам, почему число самоубийств увеличивается по мере того, как солнце дольше стоит над горизонтом; ведь уже одно увеличение долготы дня открывает более широкое поле для коллективной жизни; период отдыха настает позднее и кончается раньше, и она имеет больше времени для своего развития. Вместе с тем неизбежно должны развиваться более интенсивно и ее результаты, а следовательно, должно возрастать и число самоубийств, являющееся одним из этих результатов.

Но это только первая, и не единственная, причина. Если общественная деятельность интенсивнее летом, чем весной, весной, чем осенью, и осенью, чем зимой, то это происходит не только потому, что внешняя рамка, в которой она развивается, расширяется по мере перехода от одного сезона к другому, но и потому также, что здесь играют роль иные непосредственные возбудители. Зима является для деревни временем отдыха, граничащего с полным застоём в делах. Жизнь как бы совершенно замирает, люди редко между собою встречаются и в силу состояния атмосферы, и потому, что с упадком деловых оборотов прекращается в этом всякая надобность. Жители деревни погружаются в настоящий сон. Но с наступлением весны все начинает просыпаться, возобновляются работы, завязываются сношения друг с другом, увеличивается обмен и начинается постоянная циркуляция населения для обслуживания земледельческих нужд. Эти исключительные условия деревенской жизни не могут не иметь большого влияния на месячное распределение числа самоубийств, так как более половины общего числа добровольных смертей падает на долю деревни. Во Франции в период от 1873–1878 гг. в деревне насчитывалось самоубийств 18 470 случаев из 36 365. Ввиду этого вполне естественно, что число самоубийств увеличивается с приближением теплого времени года; максимум приходится на июнь или июль, т. е. на время наибольшего оживления деревенской жизни; в августе все начинает снова успокаиваться, и число самоубийств падает; однако быстрое понижение наступает лишь в октябре и особенно в ноябре, может быть, потому, что некоторые продукты сельского хозяйства созревают и собираются только глубокой осенью.

Те же причины оказывают влияние, хотя и в более слабой степени, на пространстве всей территории. Городская жизнь также всего оживленнее летом: в это время легче сообщаться между собою; люди охотнее переезжают с одного места на другое, и внутриобщественные отношения охватывают более широкие круги.

Внутреннее движение в каждом городе проходит через те же фазы. В течение 1887 г. число пассажиров, переезжавших из одного пункта Парижа в другой, регулярно увеличивалось с января (655 791) до июня (848 831) и уменьшалось начиная с этого последнего месяца до декабря (659 960) с тою же непрерывностью.

Приведем еще одно, последнее наблюдение для подтверждения нашего понимания фактов. Если по вышеуказанным причинам городская жизнь должна быть интенсивнее летом и весной, чем в другое время года, то все же колебания в зависимости от времен года в городе должны быть заметны слабее, чем в деревне, так как коммерческие и промышленные дела, научные и художественные работы, светские отношения не замирают зимой в такой степени, как земледельческие работы; занятия горожанина могут продолжаться почти с одинаковой интенсивностью в течение всего года. Большая или меньшая продолжительность дня должна иметь особенно мало значения в больших центрах, потому что здесь искусственное освещение более, чем в других местах, уменьшает время ночной темноты. Если изменения количества самоубийств в зависимости от месяца или сезона определяются различной степенью интенсивности общественной жизни, то они должны быть менее заметны в больших городах, чем во

всей стране вообще. Факты вполне подтверждают наше предположение. В самом деле, если во Франции, в Пруссии, Австрии и Дании между минимумом и максимумом существует разница в 52,4 % и даже в 68 %, то в Париже, Берлине, Гамбурге и т. д. уклонение достигает в среднем только 20–25 %, а во Франкфурте опускается до 12 %.

Мало того, мы видим, что в больших городах происходит обратное тому, что наблюдается во всей стране: максимум самоубийств часто падает на весну. Даже в том случае, когда лето стоит впереди весны (Париж, Франкфурт), перевес на его стороне очень незначителен. Это зависит от того, что в главных центрах в течение летнего времени часто наблюдается настоящее выселение наиболее активных общественных элементов, а это имеет своим последствием легкое понижение общего темпа жизни.

Мы начали эту главу тем, что отказались признать за космическими факторами прямое влияние на месячное или сезонное колебание числа самоубийств. Мы видим теперь, в чем заключаются настоящие причины, в каком направлении их надо искать; и этот положительный результат подтверждает заключение нашего критического исследования. Если число добровольных смертей увеличивается в промежутке от января до июля, то это происходит не потому, что жара губительно действует на человеческий организм, а в силу того, что пульс социальной жизни бьется интенсивнее. Без сомнения, социальная жизнь достигает летом этой интенсивности благодаря тому, что положение солнца по отношению к земле, состояние атмосферы и т. д. позволяют ей в жаркое время развиваться сильнее и свободнее, чем зимой, но определяет ее не только физическая среда; и менее всего она влияет на ход самоубийств: последний зависит от социальных условий.

Правда, мы еще не знаем, в чем именно состоит воздействие коллективной жизни, но уже теперь можем понять, что если оно содержит в себе причины, изменяющие процент самоубийств, то процент этот должен увеличиваться и уменьшаться в зависимости от интенсивности жизни коллектива. В следующей книге будет определено более точно, в чем заключаются эти причины.

Глава IV

Подражание

Прежде чем перейти к исследованию социальных причин самоубийства, надо рассмотреть влияние еще одного психологического фактора, которому приписывается особо важное значение в генезисе социальных факторов вообще, самоубийства в частности. Мы говорим о подражании.

Подражание есть, бесспорно, явление чисто психологическое; это вытекает уже из того обстоятельства, что оно возникает среди индивидов, не связанных между собою никакими социальными узами. Человек обладает способностью подражать другому человеку вне всякой с ним солидарности, вне общей зависимости от одной социальной группы, и распространение подражания само по себе бессильно создать взаимную связь между людьми. Чихание, пляска св. Витта, страсть к буйству могут передаваться от одного индивида к другому при наличии только временного и преходящего соприкосновения между ними; нет необходимости, чтобы среди них возникала какая-либо моральная или интеллектуальная связь или обмен услуг, нет надобности даже, чтобы они говорили на одном языке; взаимно заражаясь, перенимая что-либо друг у друга, люди вовсе не становятся ближе, чем были раньше. В общем, тот процесс, посредством которого мы подражаем окружающим нас людям, служит нам и для воспроизведения звуков природы, форм вещей, движения тел. Так как ничего социального нет во втором случае, то его также нет и в первом. Источник подражания заложен в известных свойствах представляющей деятельности нашего сознания, – в свойствах, которые вовсе не являются результатом коллективного влияния. Если бы было доказано, что подражание может служить определяющей причиной того или иного процента самоубийств, то тем самым пришлось бы признать, что число самоубийств – всецело или только отчасти, но во всяком случае непосредственно – зависит от индивидуальных причин.

I

Однако, прежде чем рассматривать факты, надо условиться относительно самого смысла слов. Социологи настолько привыкли употреблять термины, не определяя их значения, т. е. не очерчивая методически пределов той группы объектов, которую они в том или другом случае имеют в виду, что без их ведома выражение, передававшее первоначально одно понятие или по крайней мере стремившееся к этому, сливается зачастую с другими, смежными определениями. При таких условиях любая идея получает настолько неопределенный смысл, что теряется возможность даже спорить о ней. При отсутствии точно определенных очертаний каждое понятие может, смотря по надобности, преобразовываться почти произвольно, и никакая критика не в состоянии заранее предвидеть, с каким именно из тех видоизменений, которые оно способно принять, ей придется иметь дело. Как раз в таком положении и находится вопрос о так называемом инстинкте подражания.

Слово это служит одновременно для обозначения следующих 3 групп фактов.

1. Внутри одной и той же социальной группы, все элементы которой подчинены действию одной и той же причины или ряда сходных причин, наблюдается некоторого рода нивелировка сознания, в силу чего все думают и чувствуют в унисон. Очень часто называют подражанием ту совокупность действий, из которой вытекает эта согласованность. При таком понимании слово это обозначает способность состояний сознания, одновременно переживаемых некоторым числом разных индивидов, действовать друг на друга и комбинироваться между собой таким образом, что в результате получается известное новое состояние. Употребляя слово в

этом смысле, тем самым говорят, что комбинация эта объясняется взаимным подражанием каждого всем и всех каждому. «Лучше всего, – говорит Тард, – такого рода подражания обнаруживают свой характер в шумных собраниях наших городов, в грандиозных сценах наших революций». Именно при таких обстоятельствах лучше всего можно видеть, как люди, собравшись вместе, преобразуются под взаимным влиянием друг на друга.

2. То же самое название дается заложенной в человеке потребности приводить себя в состояние гармонии с окружающим его обществом и с этой целью усваивать тот образ мыслей и действий, который в этом обществе является общепризнанным. Под влиянием этой потребности мы следуем модам и обычаям, а так как обычные юридические и моральные нормы представляют собою не что иное, как определенные и укоренившиеся обычаи, то мы чаще всего подчиняемся влиянию именно этой силы в своих моральных поступках. Каждый раз, когда мы не видим смысла в моральной максиме, которой повинемся, мы подчиняемся ей только потому, что она обладает социальным авторитетом. В этом смысле подражание модам отличается от следования обычаям лишь тем, что в одном случае мы берем за образец поведение наших предков, в другом – современников.

3. Наконец, может случиться, что мы воспроизводим поступок, совершившийся у нас на глазах или дошедший до нашего сведения, только потому, что он случился в нашем присутствии или доведен до нашего сведения. Сам по себе поступок этот не обладает никакими внутренними достоинствами, ради которых стоило бы повторять его. Мы копируем его не потому, что считаем его полезным, не для того, чтобы последовать избранному нами образцу, но просто увлекаемся самим процессом копирования. Представление, которое мы себе об этом поступке создаем, автоматически определяет движения, которые его воспроизводят. Мы зеваем, смеемся, плачем именно потому, что мы видим, как другие зевают, смеются, плачут. Таким же образом мысль об убийстве проникает иногда из одного сознания в другое. Перед нами подражание ради подражания.

Эти три вида фактов очень разнятся друг от друга. И прежде всего первый вид нельзя смешивать с последующими, так как он не заключает в себе никакого воспроизведения в полном смысле этого слова, а представляет синтез *sui generis* различных или, во всяком случае, разнородных по происхождению состояний. Слово «подражание» в качестве определения этого понятия не имеет никакого смысла.

Проанализируем более тщательно это явление. Некоторое число собравшихся вместе людей воспринимают одинаково одно и то же обстоятельство и замечают свое единодушие благодаря идентичности внешних знаков, которыми выражаются чувства каждого из них. Что же тогда происходит? Каждый присутствующий смутно представляет себе, в каком состоянии находятся окружающие его люди. В уме накапливаются образы, выражающие собою всевозможные проявления внутренней жизни, исходящие от различных элементов данной толпы со всеми их разнообразными оттенками. До сих пор мы не видим еще ничего такого, что бы могло быть названо подражанием; сначала мы имеем просто воспринимаемые впечатления, затем ощущения, совершенно однородные с теми, которые вызывают в нас внешние тела. Что происходит затем? Пробужденные в моем сознании, эти различные представления комбинируются между собою, а также с тем представлением, которым является мое собственное чувство.

Таким путем образуется новое состояние, которое уже нельзя назвать моим в той степени, как предыдущее, которое уже менее окрашено индивидуальной особенностью и посредством целого ряда последовательных повторных переработок, вполне аналогичных с первоначальной, в состоянии еще более освободиться от того, что в нем еще носит слишком частный характер. Квалифицировать эти комбинации как факты подражания можно только в том случае, если вообще условиться называть этим именем всякую интеллектуальную операцию, где два или несколько подобных состояний сознания вызывают друг друга в силу своего сходства, затем сливаются вместе и образуют равнодействующую, которая всех их поглощает в себе и

в то же время отличается от каждого из них в отдельности. Конечно, допустимо всякое словопотребление. Но нельзя не признать, что в данном случае оно было бы в особенности произвольным и могло бы стать только источником путаницы, ибо здесь слово совершенно лишается своего обычного значения. Вместо «подражания» тут было бы уместнее говорить о «созидании» ввиду того, что при данном сочетании сил получается нечто новое. Для нашего интеллекта это единственный способ что-либо создать.

Могут на это возразить, что подобное творчество ограничивается только тем, что увеличивает интенсивность начального состояния нашего сознания. Но во-первых, всякое количественное изменение есть все же внесение чего-то нового; а во-вторых, количество вещей не может изменяться без того, чтобы от этого не переменялось и их качество; какое-либо чувство, становясь вдвое или втрое сильнее, совершенно изменяет свою природу. Ведь та сила, с которой собравшиеся вместе люди взаимно влияют друг на друга, может зачастую превратить безобидных граждан в отвратительное чудовище. Поистине странное «подражание», раз оно производит подобного рода превращение! Если в науке пользуются такой неточной терминологией для обозначения этого явления, то это происходит, без сомнения, потому, что исходят из смутного представления, будто каждое индивидуальное чувство есть как бы копия чувств другого человека. Но на самом деле не существует ни образцов, ни копий. Мы имеем здесь слияние, проникновение некоторого числа состояний данного сознания в глубь другого, отличающегося от них; это будет новое коллективное состояние сознания.

Конечно, не было бы никакой неточности, если бы подражанием стали называть причину, производящую это состояние, если бы всегда делалось допущение, что подобное настроение духа внушено толпе каким-нибудь вожаком, но – помимо того, что это утверждение решительно ничем не обосновано и находится в полном противоречии с множеством фактов, где мы можем наблюдать, что руководитель явно выдвигается самой толпой, вместо того чтобы быть ее движущей силой, – даже помимо этого случая, где доминирующее влияние вожака носит реальный характер, не имеют ничего общего с тем, что называется взаимным подражанием, ибо здесь подражание проявляется односторонне, и потому мы оставим его пока в стороне. Прежде всего надо старательно избегать тех смешений, которые уже в достаточной мере затемнили занимающий нас вопрос.

Если бы кто-нибудь высказал мнение, что в каждом собрании людей всегда имеются индивидуумы, разделяющие общее мнение не по свободному убеждению, а подчиняясь авторитету, то это было бы неоспоримой истиной. Мы даже думаем, что в таких случаях всякое индивидуальное сознание в большей или меньшей степени испытывает подобного рода принуждения. Но если оно имеет своим источником силу *sui generis*, которой облечены общие действия и верования, когда они прочно установились, то оно относится ко второй категории отмеченных нами фактов. Рассмотрим эту категорию и прежде всего спросим себя, в каком смысле ее можно назвать подражанием.

Категория эта отличается от предыдущей тем, что она не предполагает воспроизведения какого-либо образца. Когда следуют известной моде или соблюдают известный обычай, то поступают в этом случае так, как поступали и поступают ежедневно другие люди. Но уже из самого определения следует, что это повторение не может быть вызвано тем, что называется инстинктом подражания; с одной стороны, оно является как бы симпатией, которая заставляет нас не оскорблять чувства окружающих нас людей, дабы не испортить хороших отношений с ними; с другой стороны, оно порождается тем уважением, которое нам внушает образ мыслей и действий коллектива, и прямым или косвенным давлением, которое оказывает на нас коллектив, дабы предупредить с нашей стороны всякое диссидентство и поддержать в нас это чувство уважения. В данном случае мы не потому воспроизводим тот или иной поступок, что он был совершен в нашем присутствии, что мы получили о нем сведения, и не потому, что нас увлекает воспроизведение само по себе, но потому, что он представляется нам обязательным и

в известной степени полезным. Мы совершаем этот поступок не потому просто, что он был раз осуществлен, а потому, что он носит на себе печать общественного одобрения, к которому мы привыкли относиться с уважением и противиться которому значило бы обречь себя на серьезные неприятности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.